

**Проблема проработки
имперско-советского прошлого**

**КРИЗИСНЫЙ РИТМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ:
К КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМУ
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ**

В.П. Булдаков

Институт российской истории РАН

Аннотация: Автор объясняет, почему в России преобладал и преобладает кризисный, а не эволюционный тип развития. На протяжении многих веков истории главной задачей российской государственности было овладение «необъятными» пространствами. В ходе постепенного охвата управлением обширных территорий с разреженным населением происходила неуклонная централизация власти, инерция которой сохраняется до настоящего времени. В конечном счёте, власть попыталась сосредоточить в своих руках не только управление производством и собственностью, но и умами подданных. Такая система управления сама по себе приобретала кризисный характер. Наиболее заметны системные кризисы XVII, начала и конца XX в. При всем своём внешнем несхождении они содержат одни и те же взаимодействующие компоненты: моральный, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, рекреационный. При этом на всех стадиях преобладает не рациональная, а эмоциональная мотивация того или иного выбора. В результате системных кризисов всякий раз происходит возрождение традиционного российского авторитаризма, идейно опирающегося на патерналистские иллюзии низов. Такая историческая ситуация включает заинтересованность государства в развитии модернизационных потенциалов населения. Вопреки провозглашаемым популистским лозунгам, государство заинтересовано преимущественно в собственном самосовершенствовании ради более эффективного извлечения и монополизации прибавочного продукта.

Ключевые слова: Россия, империя, традиции, модернизация, патернализм, идеология, политика, насилие, цикличность, кризисы, революции, социальные движения, стагнация, культура.

Представление о кризисном ритме российской истории, вроде бы, окончательно закрепилось в современном обществоведении. Однако причины кризисов, а равно их результаты, трактуются по-разному. И это не удивительно. «Пытаясь оценить и объяснить катастрофические события европейской истории последних десятилетий, современные исследователи чувствуют обветшалость и бессилие традиционных средств», — заметил в свое время К.-

Г. Юнг [Юнг 1994: 39]. Похоже, эта тенденция упрочилась. Современному человеку сложно жить с сознанием зыбкости своего существования — отсюда своего рода эсхатологическая паника, периодически охватывающая даже просвещённых людей, а равно и желание исследователей уклониться от бесстрастного проникновения в природу катастрофических явлений.

В современной России заметна и человеческая «обида» на недавние революции, не увенчавшиеся желаемым результатом. При этом заблуждения прошлого перерастают в мифы, отравляющие память поколений, а утопии кризисных времён обретают наукообразные формы, парализующие исследовательскую мысль. Впрочем, так было всегда. Социальные катастрофы раскалывают историческую память, порождая вспышки ожесточённых дискуссий о неподвластном прошлом.

В свое время 90-летие Октябрьской революции вызвало не только поразительную разногласию эмоционально перенасыщенных мнений [ср.: Пивоваров 2007; Фроянов 2007; Громыко 2007 и др.], но и вопиющую беспомощность профессиональных обществоведов, явно не способных связать это событие с естественным ходом российской и мировой истории [Никифоров 2007]. Тематика революции стала малоприятным свидетельством когнитивной уязвимости всего современного обществоведения.

В значительной степени непонимание природы российских кризисов связано с тем, что они рассматривались исключительно в «прогрессивистской» (формационно-поступательной) парадигме. Идея цикличности истории в СССР не имела права на существование. Большинству авторов даже не приходило в голову, что социализм сыграл в массовом сознании роль бесплодной утопии, так и не получив адекватного социально-экономического воплощения. С другой стороны, непреходящая болезнь российской историографии по-прежнему связана с презентизмом — отрывом от исторических реалий под влиянием той или иной эфемерной доктрины современности.

Неприятие самого факта революции (смуты, системного кризиса) связано с ощущением недостижимости стабильного развития России. Трудно согласиться с тем, что «славное» имперское прошлое было *закономерно* перечёркнуто «неведомыми» силами. Несмотря на появление ряда работ, доказывающих, что кризисность является «нормой» российской истории, внимание читающей публики привлекают работы конспирологического пошиба. Ну а основная масса исследователей избегает независимой постановки вопроса о причинах революции, довольствуясь устарелыми теориями [Шепелева 2005].

Наплывы смутного времени, периодически лихорадящие течение времени, имеют сугубо человеческое происхождение. В 1932 г. К.-Г. Юнг писал, что следует выделять в социальных катастрофах «проявления психического начала», доходящие до «психических эпидемий». Увы, в своем большинстве современные «аналитики» шарахаются от попыток поиска истоков социальных кризисов в исторических надрывах человеческой психики. Конечно, думать, что в *«любой момент* (выделено мной. — В.Б.) несколько миллионов человеческих существ могут оказаться охвачены новым безумием» [Юнг 1994: 242], житейски непрактично. Но теоретически нельзя отрицать, что феномен кризисности связан с непредсказуемостью острых культурно-антропологических реакций на «вызовы времени».

Вряд ли надо объяснять, что утрата сложноорганизованной системой своих исторически востребованных качеств воспринимается как непосредственная угроза человеческому существованию. И здесь на первый план выходят видовые признаки «настоящей» власти: ее харизматическое наполнение, связанное с личностью правителя; сакральный характер господства последнего, поддерживаемого «высшими» силами; нравственное санкционирование низами любых, включая репрессивные, действий верхов; концентрация военной мощи, призванной усмирить любого внешнего и внутреннего врага. В целом ясно сформулированная и символически представленная картина единства духовных и управленческих интенций

власти должна соответствовать историческому опыту и ожиданиям масс, а экономическая мощь государства естественно направляться на поддержку низов в экстремальных обстоятельствах (неурожай, голод, эпидемии, пожары и т. п.). В любом случае власть обязана обладать «человеческими» (а не чисто бюрократическими) навыками управления: не допускать появления и разрастания в подконтрольном социальном пространстве маргинальных слоёв и, особенно, диссипативных элементов; уметь по-третейски поддерживать сложившийся баланс социальных иерархий и нейтрализовать излишне пассионарных их представителей; конструктивно взаимодействовать с самоуправленческими начинаниями низов. Со своей стороны правящие элиты должны демонстрировать идеологическую сплочённость, блокирующую действия антисистемной оппозиции, и, вместе с тем, и внутреннюю солидарность, обеспечивающую поддержку инновационных начинаний. Система, испытывающая дефицит этих качеств, «выдыхается». В результате утраты своего солидаристского психоэмоционального наполнения она начнёт превращаться в беспомощное ригидное сооружение — своего рода исторический памятник самой себе.

Можно сказать, что российская власть строилась по «непогрешимому» народному сценарию (так называемой домашней модели). Эта традиционалистская конструкция отнюдь не предполагает тотальной поднадзорности социального пространства. Власть контролирует только ту его часть, которая грозит уязвимости системы в целом. При этом самостоятельность отдельных сегментов социальной структуры вовсе не предполагает утраты устойчивости ее как целого. Такая высшая — в традиционалистском ее понимании — власть в принципе *не могла считаться дурной*, хотя в лихие времена под воздействием панического мироприятия она могла предстать *ложной*, то есть не соответствующей своему естественному предназначению. Таков примордиалистский стержень любого (лишенного гарантий внутренней стабильности) господства — «власть, которую оспаривают и противоречиво интерпретируют, уже не есть власть» [Московичи 1998: 287]. Народ периодически бунтует не против власти как таковой (или ее устарелости ее типа), а против *искажения* ее желанной сути «чуждыми» и «инородными» элементами, против покушений на ее изначальное *естество*. Духом именно такого протеста проникнута, кстати говоря, книга В.И. Ленина «Государство и революция» — величайший разрушитель вольно или невольно «подбирал» в ней оптимальную («естественную») форму грядущей государственности.

В связи с этим первостепенным оказывается вопрос: где зарождаются и по каким углам прячутся бациллы революционаризма, способные взорвать систему в «день X»? Вероятно, в сложноорганизованном (имперском) социальном пространстве они рассеяны повсеместно, хотя наиболее опасны те из них, которые могут вызвать «экстремальный рост малых возмущений», то есть резонировать с источниками массового социального напряжения. Проблему осмысления кризисов в России, таким образом, можно свести к задаче распознавания «слабых мест» социэталной конструкции.

Сила и устойчивость (соответственно и конфигурация) любой власти связана не с интенсивностью насилия и не с его театральными суррогатами, а со степенью (тотальностью) овладения пространством [Королев 1997]. Имеется в виду не только собственно пространство (территория), но также пространство населения (социализованная популяция). Только при организации их в *информационно-временную* целостность (иерархию социальных энергий, ценностей и смыслов) возникает поддающееся устойчивому («внятному») управлению *пространство власти*. Сбои в ее функционировании чреваты разрастанием *пространства хаоса*.

1. От расползания территорий к пространству власти

Россия никогда не была устоявшейся территориальной данностью — она существовала как постоянное (причём аритмичное) пространственное расширение (В.О. Ключевский). И дело не просто в том, что юго-восточные границы империи не были точно установлены ни в начале XX в., ни даже в его конце. Россия складывалась скорее как расплывчатый этно-пространственный образ, а не «сухопутная» империя, планомерно подчиняющая своему культурному диктату окружающее пространство. Россия была пространством непредсказуемости — в связи с этим византийский опыт правления вряд ли имел здесь серьёзное значение. Призвание варягов, вероятно, было связано с потребностью во *внешнем* управлении в связи с ненадёжностью автохтонных саморегулятивных механизмов. Последнее могло быть связано с ощущением ненадёжности существования в силу непредсказуемости вторжения *внешних* сил, будь то природные катаклизмы (голод, неурожай и т. п.) или войны и набеги (угрозы со стороны Степи). Разумеется, можно интерпретировать «призвание» как обычное завоевание (аналогичное европейским победам норманнов), однако и здесь возникала проблема выбора: признание господства одних внешних сил ради избавления от опасности со стороны других. Так или иначе, власть в России изначально оказалась *внешней* силой, призванной восполнить слабости естественной саморегуляции. Однако снизу она воспринималась (и воспринимается) как некое патерналистское благо, спущенное свыше.

В том же управленческом (а не просто завоевательном) контексте следует оценивать пресловутое монгольское «иго». Кочевники убивали и разрушали, но они же, в конечном счёте, поставили преграду натиску с Запада и укрепили систему *внешнего* управления, которое при этом приобрело новый — имперски-консолидационный — смысл. Как ни парадоксально, действительное собирание «русских» земель началось с утверждения системы наместничества, опирающегося на баскаков. Это, ко всему, был новый шаг по пути формирования служилого сословия в России. Конструктивный фактор монгольского начала российской государственности, по-видимому, останется «неоцененным» (или недооцененным) исследователями — мешает привычно негативная оценка 240-летнего «чужеродного» ига (хотя известны слова Владимира Соловьёва о русском государстве, «зачатом варягами и оплодотворённом татарами [Соловьёв 1989: 298–299]). Между тем, вряд ли подлежит сомнению, что без создания «русского улуса» вся восточно-европейская равнина осталась бы балканизированным (а отнюдь не «централизованным») этно-государственным пространством. И дело не только в чисто силовом начале, которое вслед за норманнами привнесли монголы. Для древнерусской государственности сложнейшую проблему составлял сбор дани [Милов 1998: 557] — решить ее смогли, как ни парадоксально, «дикие» завоеватели-кочевники через своих баскаков. Со временем именно на этой основе сформировался институт кормлений — некая архаичная форма правления, для последующей коррекции которой была призвана имперская бюрократия.

С другой стороны, восточноевропейская равнина представляла собой настолько слабо заселённое пространство, что всякая государственность приобретала здесь номинальный характер без необходимого транспортно-информационного обеспечения. Монголы решили и эту проблему, создав ямскую службу — технологически революционную для своего времени. Так была заложена основа *маршрутному* овладению пространством, оказавшему, в свою очередь, решающее влияние на «приказной» стиль и характер управления. В этих условиях всякое заимствование внешних (не только западных) технологий давало «обратный» социальный эффект: под покровом внешней инновационности реанимировались архаичные и грубые формы эксплуатации [Милов 1998: 564].

Можно сказать, что византийско-православная государственность обрела неадекватную ей монгольско-кочевническую систему управления. Со временем место баскака занял немец-бюрократ. Понятно, что в подобные метаморфозы российского управления верить не никому хочется — протестуют иллюзии патернализма. Снизу «злая» власть казалась явлением преходящим.

Существовал ещё один малозаметный парадокс. В силу необъятности пространств Россия на протяжении многих веков располагала минимальным объёмом совокупного прибавочного продукта [Милов 1998: 417] (даже если бы его удалось произвести, превратить его в общенародное достояние было бы невозможно) — и это вопреки тому, что государственность необъятной державы должна была располагать очень значительными «свободными» средствами. А между тем неосвоенное обилие порождало в народе устойчивое представление о его *богоданности* — природный достаток смешивался с необъятными возможностями власти. На деле государство не умело распорядится даже тем, чем оно вроде бы обладало (до использования природного обилия россиянин додумывался только в критических обстоятельствах — не случайно за основательное изучение природных богатств взялись благодаря В.И. Вернадскому только в годы Первой мировой войны). В таких условиях обычные природно-демографические катаклизмы приобретали системно угрожающий характер. В силу этого власть стремилась совместить пространство территории с пространством населения в форме крепостничества. Но это был далеко не тот процесс, какой имел место на Западе с его «классическим» феодализмом или Востоке с его азиатским способом производства.

Отношения власти-подчинения в России строились не столько по принципу верхи-низы, а как особая сословно-территориальная форма овладения пространством. Символично, что присоединение Сибири начали «сухопутные пираты» — казаки, имевшие обыкновение награвивши прибегать под царскую длань. Ее завоевание Сибири началось *вопреки* приказам Ивана IV, понимавшего, что пространство державы следовало *ограничить*, дабы не подвергать угрозе нестабильности в результате бесконтрольного расширения. Получалось, что разбойный и гулящий люд способствовал сомнительному преумножению богатств короны. С другой стороны, охлократия, приобретая сословно-служилое качество, становилась фактором геополитики. В любом случае необъятные пространства становились в России фактором нестабильности. Исследователи отмечают, что, в отличие от «модернизирующей» в целом колонизации американского Дикого Запада, «освоение» Сибири оборачивалась архаизацией жизненного уклада мигрантов.

Обилие неосвоенных пространств при низкой плотности населения породило ещё одну особенность. «Наши пространства... хранят в своих недрах богатейшие сокровища, отказаться от стражи которых равносильно исторической измене; они включают в свои пределы важнейшие политико-стратегические позиции, требующие серьёзной военной силы, хотя бы для того, чтобы не быть втянутыми в войну..., — считал видный военный теоретик начала XX в. А.А. Свечин. — Первый шаг к победе должен лежать в сознании того, что наша грудь открыта для удара, что враг не спит...» [Свечин 2000: 100]. Перманентное ощущение опасности, несомненно, порождало чрезмерно нервное отношение не только к внешнему миру, но и к собственной власти, как гаранта стабильности.

2. Вера, империя, застой

В пространстве большого исторического времени есть смысл выделять лишь два реальных субъекта человеческого бытия — информационное пространство, соединяющее людей с Богом, и плотская энергетика, заставляющая их отчаянно и бесконечно враждовать друг с

другом. По большому счёту примирить эти два начала может только свободное творчество, но на практике обуздывает их вера — наиболее естественная конвенциональная сила.

Патернализм всегда многолик. Для своей убедительности он постоянно мимикрирует. В результате возникают всевозможные идейные симулякры. Символично, что в годы, предшествовавшие падению самодержавия, упорно именовал Николая II «папой» Григорий Распутин.

Если смысл Российской империи состоял в освоении, культивировании и сохранении необъятного пространства, то всякий человек, усомнившийся в ее способности к этому, невольно становился на путь ее разрушения. При этом взаимоотношения империи с конфессиями своеобразны: онтологические потребности человека используется властью для *собственной* сакрализации. Но когда процесс утраты веры в империю — единственного, что способно ее по-настоящему сцементировать, — становится необратимым, рушатся все прочие сакральные основания человеческого бытия. Наступает время новых культов.

В отличие от Запада с его «избыточным» социально-энергетическим наполнением (одно из следствий — религиозные и крестьянские войны) в России власть вынуждена была иметь дело с «неуловимой» социальной энергетикой, наполняющей «неопознанные» пространства. Теоретически в таких условиях возможно несколько вариантов их конфессионального насыщения: пантеистский «хаос»; мозаика изолированных верований; иерархия гетерогенных культов; утверждение единобожия с помощью центральной власти.

Как ни странно, в России власть всегда пыталась управлять обществом не с помощью «общей» веры, а своего рода иерархии конфессий. С «единой» верой в России дело обстояло вовсе не так просто, как это излагают православные иерархи. Кивать на наследие Византии следует с большой осторожностью. Не стоит также связывать российскую революционность с христианской эсхатологией и мессианством, что делалось неоднократно [Яковенко 2002: 138], — во всяком случае, до тех пор, пока это не будет подтверждено на эмпирическом уровне. Исследователи отмечают необычайную живучесть языческого менталитета, считается, что в русском крестьянине поселился христианин, но сохранился и язычник [Levin 1993: 100]. При этом синкретизм крестьянского мировосприятия вовсе не исключал своего рода духовного бунтарства [Clay 1997; Engelstein 1996; Engelstein 1998] — некоторые авторы (А.С. Ахиезер) видят в этом непреходящую форму раскола. Но почему не исходить из того, что веру вовсе не заимствовали и не возвращали на огородах собственных душ? Возможно, вера в России — это ни самобытная религия, ни этатизированный *fusion*, а, как и прежде, бродильное сусло сакральных поверий, вольно или невольно вливаемое в государственное русло. В условиях бездорожья безграничных пространств создаётся впечатление, что единственно верный путь может быть указан только сверху — именно поэтому вера во власть становится психоментальной доминантой неупорядоченных верований. Если Россию представить как «страну пути», то ей будет соответствовать и «блуждающая» (кочевническая) вера.

Конечно, идея империи стара и изменчива как мир. Империя — это «большая» культура, ее историческая судьба, сопряжённая с культурой. Удивляться такому взгляду на продукт «огня и железа» не стоит. По большому счёту культура — это «совокупность энергий» (П. Флоренский). Обычно империя начинается с агрессии «порядка», а кончается «цивилизацией потребления». Российская культура остаётся многослойной. В русском быте находили «разнородные» заимствования — «варяжский, византийский, славянский, татарский, финский, польский, московский, „санкт-петербургский“ и прочая» [Флоровский 1998: 101]. Конечно, при желании сходное генеалогическое древо можно подобрать для любой «большой» культуры. Все дело в том, как бывшие заимствования по-своему структурируются и в теле империи, и в историческом сознании ее народов.

В любом случае жизнеспособность империи зависит от энергетики ее этнического ядра империи — этого праистока имперства. Как только оно утратит силу, варвары непременно используют «камни» разрушившегося здания для строительства собственной империи.

Примечательно и символично то, что в начале XX в. имперская власть отчаянно ухватилась за веру: череда сомнительных канонизаций призвана была укрепить её позиции, а отнюдь не веры и не церкви. Эффект оказался соответствующим: демонстративная набожность оказала подрывное воздействие на систему [Freeze 1996]. Сказалось и то, что сакрализирующие маневры власти происходили в условиях отказа от восстановления патриаршества, которое действительно могло способствовать поднятию веры. В любом случае иерархическое соотношение властного и божественного пошатнулось.

Любая вера сопряжена с определёнными представлениями о свободе человеческого выбора. Устремлённость к свободе столь же имманентна человеческой природе, как и тенденция к тотальной организации своего пространственного общежития. Конечно, их соотношение в рамках различных культур понимается по-разному, однако устремлённость к житейски приемлемому идеалу является всеобщей. Россиянину не нужна была *свобода для*, более того, в силу особенностей своего хозяйствования он не понимал такого содержания свободы. Он мог понять только *свободу от* необходимости, давление которой было весьма велико в силу вынужденного (со временем) общинного существования.

В принципе, если бесконечность и вечность — «естественное» пространство империи — становятся «координатами» существования державы, последняя сама становится верой [Исаев 2007: 19–20]. Конечно, представления о Святой Руси — не что иное, как утопическая попытка выдать желаемое за действительное. Все намного проще: народное сознание органично принимает образ Господа небесного потому, что он, и только он, способен властвовать и над обычаем, и над традицией. Его продолжением является вера в сверхпатерналистскую *власть*, которая тем более естественна, чем более основательно человек запутался в паутине им же созданных (или заимствованных) символов. Теоретически такая вера способна подчинить себе добро и зло, уравновесить в человеческих душах отчаяние и надежду. Но оборотной стороны подобной веры является то, что всякое неизбежное сомнение в известных условиях может дойти доходящее до нигилистского глумления и над Богом, и над властью. Кстати, именно поэтому богохульство объявлялось страшнейшим преступлением в дореволюционной России. В советское время эта же тенденция проявилась в форме несоразмерного, казалось бы, преследования инакомыслия.

Принято считать, что революция — это социальное производное от утопии, связанное с ослаблением официальной веры. В России положение было сложнее — утопии постоянно «сопровождали» официальную веру. В то время как утопии образованных верхов обычно связаны с «рациональным» преодолением прошлого, утопии служилых классов — на поддержание существующего порядка, утопии традиционных слоёв, напротив, — на ушедший «золотой век». Предпринятая самодержавием череда канонизаций святых дала обратный эффект: она не только обидела нехристианские меньшинства и разочаровало секуляризованные элиты, но и спровоцировала волну негативизма в массовой политике [Freeze 1996: 350]. И это при том, что в переходный период своей истории (со второй половины XIX в.) масса населения фактически была лишена достойных идеологов [Леонтьева 2002]. Так возникало пространство психоментального хаоса, составлявшего суть российских смут.

Трудно сказать, был ли марксизм органически чужд России или, напротив, это была прогрессистски востребованная «вера пути». Но для новой власти он стал подручным средством, с помощью которого через посредство части *интеллигенции* можно было навязать народу мегаутопию «великих свершений». Как ни странно, даже практика сталинизма воспри-

нимается в дискурсе «модернизационных» изменений [Павлюченков 2008: 460]. Отсюда оксюморон — «консервативная модернизация» [Вишневецкий 1998; Фурсов 2012].

Ленин писал, что Россия «выстрадала марксизм». Трудно поверить, что выстраданная религия «освобождения от страдания» может стать конструктивной и *направляющей* верой. Но в России всякое историческое движение совершается по преимуществу именно за счёт иллюзий и утопий, а не практического расчёта. Не стоит думать, что это врождённый «анти-модернизаторский» недостаток: по большому счёту мы по-прежнему не можем понять, что такое прогресс и соответствуют ли наши текущие представления о нем онтологической природе человека.

На этом фоне особенно симптоматично смотрится попытка привить патерналистской системе принципы ЕГЭ. Что это если не попытка окончательно подавить инновационный потенциал нового поколения? И кто придумал этот способ самоубийства России? Между прочим, кризисы могут рассматриваться как стихийная попытка преодоления подобных бюрократических нелепостей.

3. Власть и временщики

Несомненно, отношение к власти в России в значительной степени связано с представлениями о катастрофичности бытия. В России риск таких природных бедствий как наводнения, землетрясения, эпидемии, всегда был относительно невелик, однако пожары, засухи, неурожаи — то, что наиболее угрожает непосредственным результатам труда — напротив, весьма распространены. Отсюда ощущение «неустойчивости» бытия и, как противовес, чрезмерные надежды на «устойчивость» власти. Между тем, верхам было крайне трудно обрести равновесие: развитие государственных структур, государственного хозяйства и «государственной машины» разрывалось между задачей оптимизации объёма совокупного прибавочного продукта и военными потребностями государства [Милов: 565]. Разумеется, подобное противоречие сказывается на работе всякой государственной машины — даже той, которая изначально настроена на внешнюю экспансию. Однако, для России вопрос об обеспечении народа продовольствием порой становился особенно болезненным.

С другой стороны, низовое представление о власти и ее носителях формировалось в условиях крайне низкого уровня социализации — в связи с этим всякие заметные шаги правителя могли произвести необычный эффект. Во-первых, спазматичность насилия сверху порождало бытовую уверенность низов в естественности череды «добрых» и «жестоких» правителей, противостоящую признанию «высшей» оправданности культурно дисциплинирующего насилия. Во-вторых, *общества* как такового *не было* — существовали лишь закрепощаемые сословия, не способные найти язык общения между собой *без* посредничества власти. В-третьих, такая власть казалась только либо «истинной», либо «ложной» — всякий намёк на ее «подмену» провоцировал самозванцев (фигура Гришки Отрепьева символична). Наконец, поскольку власть не обладала общественно признаваемым аппаратом принуждения, она периодически становилась заложницей негодного управления — тогда вместо ореола сакральности у нее замечали дьявольский хвост (история другого Гришки — Распутина не менее многозначительна). Таков естественный результат *псевдоморфности* властного начала в России. Человек перестаёт замечать, что живёт в условиях «неимманентного развития и навязанного государства» [Яковенко 2014: 182–184, 187–190].

Российских правителей до сих пор имплицитно разделяют также на «умных» и «дураков», связывая с ними свое «счастье» и «несчастье». На деле тем и другим под влиянием внешних обстоятельств приходилось использовать непривычную для низов «мимику власти» и совершать непонятные «догоняющие» рывки. Правитель в России — заложник не только

«большого пространства», но и большого исторического времени. С основной массой подданных он находится не только в разных культурных, но и временных измерениях.

Возможности православно-византийской конструкции власти, привыкшей прикрывать свои оперативно-управленческие слабости, щитом сакральности, весьма ограничены — в этом смысле судьба последнего российского императора — словно наследовавшего дух покорности судьбе от череды казенных басилевсов — весьма показательна. Трудно представить себе государство, которое попыталось бы выиграть войну без поддержки общественности. Тем не менее, в годы Первой мировой войны самодержавие надеялось обойти без ее организаций, рассчитывая на непосредственную поддержку народа. Результат известен (хотя его парадоксальность не вполне осознается): так называемые общественные организации взломали государственность, причём сделали это преимущественно на казённые деньги [Шевырин 2007].

Российский властитель — это, как ни парадоксально, временщик *sui generis* (отсюда сложность престолонаследия) и одновременно несменяемый «помазанник Божий». Такое противоречивое состояние закрепилось в ходе длительного репрессивного «совершенствования» российской власти. Создаётся впечатление, что глубокая православно-патерналистская религиозность, как показывает пример Ивана IV, оборачивается беспредельной убежденностью власти в своем праве «казнить и миловать» под влияние монгольского опыта. На этом фоне сложно говорить о феодализме или капитализме в России. Известно, что большая часть средств к существованию феодала поступала через государственные каналы, крестьянин смотрел на него как на господина, насильственно завладевшего землёй, а не как на хозяина [Милов: 558–559], а потому инстинктивно чурался любых исходящих от него новаций. Российский капитализм также не мыслил своего существования без государственных поддержки. Такое «модернизаторство» развращает и власть, и народ — тем более, что по мере своего бюрократического усложнения власть меняет «доверительный» характер взаимоотношений с подданными на бездушно-приказной. Положение доводится до абсурда тем, что коррумпированное и продажное чиновничество ухитряется в соответствии с архаичным стереотипом разыгрывать роль благодетеля-кормильца [Кондратьева 2006: 68–69]. Вслед за тем ситуацию обостряет своего рода технократический (характерный не только для новейшего времени) соблазн. В известные времена идеология, словно растворяясь в технике, продуцирует технократический взгляд на весь мир, что болезненнее всего затрагивает управляемых [Юнгер 2002: 184–185]. В этом контексте примечательно, что родоначальник «социального инженеризма» А.К. Гастев в своей деятельности вдохновлялся тем, что в отличие от Запада Россия «ленива, или элементарно импульсивна, её население, в общем, даёт мало упорства, трудового упрямства» [Гастев 1921]. Иначе не могло и быть: не только затянувшееся крепостничество, но и появление между властью и народом «бездушного» чиновничьего «средостения», парализующее инициативу низов, порождали именно такое «застойное» состояние.

Всякие имперски-патерналистские структуры (за какой бы политической вывеской они не скрывались) начинают со временем работать только «на себя». Если единственно субъектной в них оказывается личность повелителя, который, однако, теряет возможность говорить с народом на понятном языке (ситуация Николая II характерный тому пример), то он вынужден делать вид, что выступает «от имени народа» в противовес чиновничеству. Такое удаётся далеко не всегда и не всем. «Трепещущая» от неуверенности в настоящем и неясности будущего власть оказывается тем более не в состоянии перевести на «общенародный» язык неизбежность тягот, связанных с геополитическими, модернизационными и прочими масштабными устремлениями.

Любая «сакральная» власть вовсе не безгранична и отнюдь не абсолютна. Всякий диктатор понимает, насколько он зависим от своего окружения, — даже над крайним деспотом

висит дамоклов меч тираномахии, всякого Цезаря поджидает свой Брут. В постсталинскую эпоху Берию казнили за «выход из доверия». Ещё более символический пример соотношения произвола и «гласа народа» связан с Хрущевым. Этот правитель-самодур, раздаривавший территории и задним числом менявший законы, был устранён вполне нелегитимно (при всей советской размытости этого понятия), но зато при *всеобщем* одобрении. Одна из причин случившегося в том, что вместо *зрелища власти*, народ стал очевидцем персональной клоунады. Примечательно, что, вопреки распространённой версии, никакого заговора не было — Хрущев прекрасно знал, что его сместят. На почве «советской демократии» Хрущев вольно или невольно попытался воссоздать «безоговорочную» власть, которая стала саморазвиваться до достижения точки абсурда.

В России как действие по букве закона, так и игнорирование последнего для массы подданных не имеет никакого *правового* значения — важно *правое* (справедливое) или *неправое* наполнение деяния. Народ допускает возможность подзаконной импровизации со стороны правителя, соратники, со своей стороны, оставляют за ним известную свободу рук. Выходки Хрущева те и другие терпели бы до бесконечности, приносили бы приемлемые результаты. Однако его действия превратились в демонстрацию нелепости фигуры правителя. Жульничество власти стало слишком заметным. Поэтому Хрущев был устранён неуловимыми «революционерами поневоле».

Впрочем, устойчивость власти в России все же связана не столько с деяниями и личностью правителя, сколько с качеством управленцев. Пресловутое закрепощение сословий было лишь элементом процесса создания мощного *служилого* слоя. Более того, можно говорить (и некоторые современные западные русисты так или иначе это делают), что исторической власти в России помогали выжить своего рода революции служилых классов. В принципе, они были столь же обычным явлением, как, к примеру, дворцовые перевороты в Китае, осуществляемые евреями.

Власть всегда лишь *владела* Россией, *правили* же варяги, баскаки, опричники, думные дьяки, бюрократы-масоны, номенклатурщики... (теперь — *госолигархи* и *бюрокоррупционеры*). Характерно, что со времён «призвания варягов» управленцы представляли (или представлялись) этнически чуждым элементом — бироновщина и последующие волны «немецкого засилья» вовсе не были случайностью в российской истории, как неслучайны были периодические бунты против «чужаков». Власть постоянно использовала своего рода наёмников — естественной спайки с населением применительно к задачам управления не складывалось. Казалось бы, в этом нет ничего необычного. Спектр приёмов, с помощью которых императоры не допускали формирования вблизи тронов относительно независимых кланов, весьма широк — от евнухов в Китае до мамлюков на Востоке и швейцарских гвардейцев в Европе. Дело, однако, в том, что с развитием *mass media* такое явление начинает смотреться противостоительно. «Вневременная» российская власть подобную модернизацию законов управления улавливает с непростительным запозданием.

Примечательно, что в предреволюционной России взаимоотношения между крупным бизнесом и государством носили знакомый по нашим дням «порученческий» характер — правда, до раздачи губернаторских постов и назначения олигархов дело не доходило. Как бы то ни было, «единая» государственность была разделена на *власть-театр* и *власть-аппарат*. В прошлом их нестыковки порождали «революции управляющих», призванных более эффективно обслуживать все то же «вотчинно-гарнизонное» государство. Общества не было — для этого требуется слой независимых от власти людей. Ю.С. Пивоваров как-то заметил, что будущие фигуранты русской революции — власть и общество — принадлежали к единой субкультуре европеизированных Петром I верхов [Пивоваров: 41]. Это справедливо лишь наполовину: само «общество» существовало лишь постольку, поскольку составляло

часть декоративной европеизации. А дореволюционная «демократическая» многопартийность была лишь фиговым листком, прикрывающий срам разложения власти.

Политики со времён Наполеона пытались использовать в своих целях «энергию воспоминаний» [Дебор 2000: 66–67]. Но монархический расчёт на инерцию прошлого будил неподвластных им демонов истории, способных перевернуть действительность по совершенно неведомым, казалось бы, законам. В реальной жизни под покровом знакомых образов и привычных понятий скрываются как хорошо забытые, так и вовсе неведомые смыслы. Это усугубляется тем, что политики порой руководствуются настолько примитивными целями и устремлениями, что человек толпы просто не решается в это поверить. Легко согласиться, что политика — это точка жизни, наиболее удалённая от вечности и потому наиболее приближенная к дуракам. Но трудно вообразить в роли перманентно одурачиваемого самого себя. По мнению Ю.М. Лотмана, система подобная российской, провоцировала к воплощению в жизнь заведомо неосуществимого идеала, что привлекало максималистские слои общества поэзией построения «новой земли и нового неба» [Лотман 1992: 258]. В общем, российская власть выстраивалась под людей беспомощных в силу своего аксиологического *легковерия*.

Если в пореформенное время стало формироваться некое реальное подобие общества, то в советские (и нынешние) времена *видимость общества* имитировалась «общественниками», назначаемыми власти из «полезных» государству и «популярных» у населения людей (будь это мать-героиня или эстрадный певец). Коммунистическую власть отличала вездесущая идеократичность, нынешняя власть уникальна своей «виртуальностью». Но та и другая является властью *без общества*. Именно потому правителям приходится столь отчаянно цепляться за свое кресло: свалишься — тут же затопчут. Существование настоящего общества для современной власти опасно. Поэтому всякая попытка общественной самодеятельности легко находит свое логическое завершение на тюремной параше.

В России до бесконечности повторяется одно и то же: власть жаждет стабильности и потому вольно или невольно организует застои. А в стоячем болоте непременно появятся и бациллы разложения, выдаваемые за «нечистую силу».

Характерно, что и нынешняя власть пытается идеологизироваться и даже указывать на аксиологические ориентиры. Это не просто декларации и декорации, это — неперемные спутники ее выживания. Однако лучшей подпоркой всякой патерналистской власти был и остаётся образ врага. Характерно при этом, что в истории России «внутренний враг» то и дело предстал силой более коварной и опасной, чем враг внешний.

У нас стыдливо замалчивается тот несомненный факт, что внутренняя психопатология российского бытия то и дело оборачивается наплывами общественной паранойи. Без них не обходился ни один системный кризис. «Виной» всему — «долготерпение» народа. Оно тоже взрывоопасно.

4. Империя и ее подданные

Империя остаётся таким же неписанным правилом всемирной истории, как силовое наполнение человеческого общежития. И того и другого обычно стараются не замечать в силу стремления всякого обывателя к правовой защищенности. Но, конечно, отношение к империи было и остаётся глубоко амбивалентным.

В прошлом россияне могли бы прокормиться без власти, поддерживая производственно-потребительский (природно-экологический) баланс. Тем не менее, власть, точнее, ее образ упорно произрастал снизу — как гарант от превратностей природных и прочих катаклизмов. Как ни парадоксально, на первый взгляд, россиянин производил и воспроизводил собственную иллюзию власти. Настроенность крестьян на поддержание «природного»

производственно-потребительского баланса, заведомая неэффективность товарообмена в силу необъятности пространств, настроенность государства на поддержание внутриимперской стабильности привело к тому, что русские оказались невосприимчивы к западной модели меркантилизма (Ю. Крижанич). Сказывалась и надежда на защиту от внешних напастей (война, голод, набеги кочевников). Сыграла свою роль и патерналистско-пространственная онтология — потребность «царя в голове». Именно особая форма сакрализации власти породила спонтанные (демонстративно-бунтарские) поведенческие реакции низов на ненадёжность и/или нестабильность власти в критических обстоятельствах.

В Древней Руси ограниченный размер совокупного прибавочного продукта общества делал нереальным создание сколько-нибудь сложной многоступенчатой феодальной иерархии в качестве ассоциации, направленной против производящего класса [Милов: 480]. Историческим эквивалентом этому стал путь консолидации верхов посредством обслуживания центральной власти.

Но крепостное право не просто навязывалось сверху. «...В условиях суровой природы с коротким земледельческим сезоном работ (вдвое меньше, чем в Западной Европе) весь быт, весь уклад жизни великорусского населения Европейской России носил чётко выраженный «мобилизационно-кризисный» характер» [Милов: 209, 379]. Поэтому крепостничество сыграло важную роль в коррекции ментальных последствий влияния природно-климатического фактора, который требовал громадных нервно-психологических затрат, порождавших не только «экстенсивный» и «импульсивный» тип трудолюбия, но и особого рода качества. В частности отсутствие чёткой взаимосвязи между мерой трудовых затрат и получаемого урожая не могло не выработать чувства своего рода бытийственного скепсиса и «покорности судьбе» [Милов: 430]. Последняя могла выразиться не иначе как в форме покорности государству — можно сказать, что российское население попросту не ведала о таких понятиях средневековой европейской морали, как честь и достоинство — необходимого компонента общественного самосознания. С другой стороны, защитные механизмы крестьянской общины были столь сильны, что преодолеть его можно было только с помощью крепостного права. Неизбежность существования общины, обусловленная ее производственно-социальными функциями, в конечном счёте, вызвала к жизни наиболее жестокие и грубые механизмы изъятия прибавочного продукта в максимально возможном объёме [Милов: 481, 556]. Так формировалась система «закрепощения сословий», наложившая печать не только на социокультурный облик, но и систему «особых» российских ценностей.

Говоря об отношении российских подданных к власти, хотелось бы обратить внимание на этимологический аспект проблемы. Кажется, только в русском языке возможно словосочетание «жить в государстве» — не в обществе, не в стране, не в империи. Казалось, в государстве, то есть внутри аппарата, механизма, машины, невозможно жить даже чиновнику. Однако россияне ухитряются «жить в государстве», поскольку общества, в котором полагается жить, попросту не существовало. Происхождение революционной смуты может быть представлено совершенно элементарно: резкое психологическое отторжение от государства, в которой уже невозможно разглядеть образ «своего». Другое дело, что в такое состояние поколения «революционеров» трудно поверить, потому их потомками оно на позитивистском уровне не улавливается.

Понимание государственности невозможно без осознания той роли, которую играют во всех цивилизациях людские страхи. Строго говоря, природа человека такова, что он обречён бояться всего «чужого», а потому он, как существо, генетически лишённое инстинктивной программы поведения, непременно будет искать ему тот или иной социальный симулякр, компенсатор и/или онтологический образец, используя подручные средства — начиная от табу и тотема и кончая «истинной» верой и «универсалистской» государственностью. Строго

говоря, ничто так не помогает преодолеть страх перед неизвестным, как империя — ее внутренний патерналистский образ находит свое подкрепление в символике постоянных побед над врагами. «Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войне всех против всех» (Т. Гоббс).

Но российская власть вовсе не стремится заставить подданных просто трепетать от страха. Приёмов примитивных деспотов для нее мало. Она стремится привить *чувство вины* «несмыслёныша» перед «великими» замыслами. Отсюда феномен тотального доношительства — подданные «страхуют» себя от репрессивности власти, отдавая на заклятие «чужого» [Королев 1996]. Подчас политика просто подменяется геополитикой, на которую всегда падок беспомощный данник власти. И здесь помогают вездесущие «враги». Так или иначе, империя создаёт внутреннее психическое напряжение или просто вырабатывает у своих подданных ощущение перманентного покушения на свое «величие». Без этого она, в сущности, не может существовать.

Имперско-патерналистские чувства не случайно всегда глубоко амбивалентны. Что такое государственный строй: «подражание самой прекрасной и наилучшей жизни» (Платон) или среда, порождающая «холодное чудовище» (Ф. Ницше)? Совершенно очевидно, что в связи с усложнением функций государства негативные представления о нем могут прогрессировать. Но до какого предела? «Государство есть мудрая организация для взаимной защиты личностей; если чрезмерно усовершенствовать его, то, в конце концов, личность будет им ослаблена и даже уничтожена — т. е. будет в корне разрушена первоначальная роль государства», — констатировал тот же Ницше. В наибольшей степени идея демонтажа ослабленных империй касалась малых, подвластных ей народов. Но они же готовы прославлять мощную империю, как залог собственной безопасности. Между тем, полицейско-бюрократическое государство словно специально создано для того, чтобы лишить человека подобных иллюзий, ибо оно живёт только в настоящем, административно обозримом будущем, исключая возможность качественного изменения существующего порядка.

Несомненно, империя остаётся правилом всемирной истории, ещё и потому, что преодоления страхов в ее лоне закрепляется определённой культурной парадигмой. В сущности, империя это, прежде всего культура, а уже затем подчинение себе более слабых (на данный момент) культур. Однако в России этот принцип был развит недостаточно: власть пребывала в состоянии перманентного культурогенеза, а периферийное культурное пространство оказывалось слишком отдалённым.

Нередко для объяснения природы власти в России используют (особенно к этому склонны бывшие представители номенклатуры) «домашнюю модель»: народ навязывает государственности те формы господства, которые апробированы им на бытовом уровне. Этот фактор, действительно, играл и играет значительную роль. Однако, согласно этой логике, в России должна была бы сложиться предельно устойчивая форма власти-подчинения. Куда более убедительной выглядит точка зрения, основывающаяся на внутреннем *противостоянии* «домашней модели» и «рациональной» (в конечно счёте бездушно-бюрократической) государственности. Именно на этой почве само государство, всякий раз перетягивая одеяло на себя, провоцирует взрывоопасное отчуждение народа от власти.

Строго говоря, подобное взаимодействие власти и народа является *всеобщим*. Другое дело, что в одном случае существующие политические институты не допускают разрастания конфликта, локализуя и переводя его в конструктивное русло, а в другом — напротив, обнажают и обостряют его. Вся современная российская политика может рассматриваться именно под этим последним углом зрения, то есть с точки зрения институциональной деструктивности власти. На эмоционально-психологическом уровне это выглядит как обоюдное лукавство

правителей и подданных, финалом которого становится моральное выжигание социального пространства. И не стоит обольщаться относительно особого упорства русского народа в поисках «высшей правды» бытия. За этим стоит не только и не столько жажда «нравственно-рационального» мироустройства, сколько желание подданных «своего» Левиафана снять с себя бремя ответственности за принятие решений [Филипова 2001: 183]. В общем «поиски правды» соответствует человеческой природе, но в патерналистских системах они могут принять характер консервативных самообольщений.

Россиянин действительно навязывал государству *свои* образы власти, государство притворялось, что воплощает их в жизнь. Отсюда снежный ком взаимной комплиментарности. Наиболее издевательскими над реалиями выглядят навязываемые властью представления об «особом коллективизме» россиянина — природного «общинника». На деле предреволюционный общинник — яростный антиколлективист уже потому, что общине (в прошлом свободному трудовому сообществу) были навязаны государственно-фискальные функции, с другой стороны, она оказалась перенасыщена «мироедским» насилием. Он коллективист лишь в той мере, в какой вынужден использовать общину для сопротивления государственности, а артель — для внеобщинной трудовой деятельности. Нормальный коллективизм существует лишь в обществе, а не создаётся по почину государства. Поэтому россиянин склонен бунтовать — «мироедов», чиновников и даже государства — *во имя воображаемой власти*. Во имя несбыточного идеала он готов отвергнуть все несовершенное. И это происходит с поразительной лёгкостью в силу того, что общества, как такового, в российской истории не было, как нет до сих пор. Государство «нарезало» социальное пространство в видах собственных мобилизационно-управленческих удобств, что превращало основные производительные страты в своего рода депрессивные социумы. Их могли соответственно стимулировать диссипативные элементы и вести за собой разрастающиеся маргинальные группы.

Но если известные институты в российском пространстве оказываются деструктивными, то что именно может играть конструктивную роль? «...Господство массы действительно лишь постольку, поскольку отдельный индивид поясняет ей чего она хочет, и выступает в своих действиях от ее имени» [Ясперс 1991: 333]. Если исходить из этого принципа, то для России пригодны те институты, которые моментально доносят волю народа до правителя, и с той же быстротой импульсы обратной связи преобразуются в государственные решения, причём вовсе не обязательно понятные низам. Таким образом, дело даже не в институтах, а в их психоментальном *наполнении* и способности к «магическим» реакциям на «волю народа». Россия не случайно столь легко расправилась с демократией, оказавшейся слишком неповоротливой. Строго говоря, демократия — это лишь идеал, который скрывает общественное сопротивление госмонополии на насилие, которое, в свою очередь, непрерывно стремится концентрации. Хочется напомнить высказывание М. Волошина, относящееся к 1906 г.: «В демократии народ подчинён своей собственной воле, а это очень тяжёлый вид рабства». Это конкретное рабство очень хочется разменять на некое «идеальное» — практически безответственное — на деле *квазирабское* состояние. Внутри него и произрастает вера в «космическую» власть (или историю), которая рано или поздно обратит свои взоры на «безгрешный» народ, живущий на «святой» Руси. Это и составляет Русскую идею — по сути своей довольно примитивную нравственную метаполитизацию и неуёмную эстетизацию Власти.

«Она взошла к звёздам величием своим, / Мы крепостью Ея от сопостат покрыты / И в бедствия волнах спешим к ней для защиты...» — такой представала М. Ломоносову Елизавета I. И это был не дежурный поэтический подхалимаж времён Сталина. Власть, вопреки своему хтоническому происхождению, должна была подняться «до звёзд».

Разумеется, от «чрезмерного» образа власти ее подданные попросту устают. И тогда ее начинают поносить — увы, поначалу для ее витализации, а позднее — в порядке восстано-

ления «идеала». Если перепуганный подданный больной империи «теряет себя» вместе с ней, то обрести утраченное ему удастся, только повторив на своем уровне опыт былого самоутверждения империи. А он включает в себя и кровавое упоение мстостью по отношению к «чужим», и первобытное насыщение уравнилельной справедливостью, и рабское смирение перед повелителем, устлавшего свой путь наверх трупами соратников.

«Огромная, превратившаяся в самодовлеющую силу, русская государственность боялась самодеятельности и активности русского народа, она слагала с русского человека бремя ответственности за судьбу России... — считал Н. Бердяев. — Он должен, наконец, освободиться от власти пространств и сам овладеть пространствами... Государство должно стать внутренней силой русского народа, его собственной положительной мощью, его орудием, а не внешним над ним началом, не господином его» [Бердяев 1990: 62, 66]. Увы, подобные пожелания бесконечно запаздывали. Уже во времена Петра I Россия представляла собой сожительство целого ряда сообществ (и этносов) с минимальным объёмом совокупного прибавочного продукта, причём основным источников изъятия этого продукта был *русский* народ [Миллов: 553]. Россия была изначально чревата революцией (смутой), ибо власть пыталась двигаться вперёд, самонадеянно сжигая за собой мосты народной поддержки. Она постоянно рисковала остаться один на один с хаосом «непонятливых» по причине этатистского идеализма людских душ.

5. Интеллигенция и их иллюзии

Интеллигенцию принято считать детищем (то ли законным, то ли побочным) Петра Великого. С не меньшим основанием ее можно считать и порождением эпохи Просвещения, занесённым в Россию в результате вольтерьянских «чудачеств» Екатерины II и наполеоновской эпопеи. Интеллигенция вовсе не оппонент всякой власти. Она оппонент «нерациональности» ее «аморальных» действий.

«Наше все» — Пушкин безусловно боготворил *имперскую* власть (в ее идеальном исполнении). Он же вылил немало едких чернил на «недостойных» правителей. В память народа он врезался, однако, как сочинитель сказок типа «О попе и работнике его Балде», а в сознание интеллигенции — как «свободы сеятель пустынный». Народ уважает рассудительное могущество, интеллигенция помимо обожествления рациональной силы (власти) всегда готова боготворить (жалеть) самое себя — этому и помог (и до сих пор помогает) Александр Сергеевич. При этом интеллигенции кажется, что применительно к вопросам «обустройства России» она существует *наедине* с властью (в этом был замечен и сам Пушкин).

Несомненно, одним из главных деструктивных факторов всей российской истории следует считать размытость граней между реальным, воображаемым и символическим. Он чрезвычайно усилился с появлением интеллигенции, с характерной для нее радикальной «логоцентричностью». Однако русская интеллигенция — это вовсе не западный буржуа, а нечто ему противоположное, вопреки тому, что и тот и другой устремлён к прогрессу. Человек, привыкший к «книжному» насилию, с куда большей лёгкостью согласится на то, чтобы признать его не просто повивальной бабкой прогресса, а его непосредственным и необходимым «двигателем». Буржуа, скорее, прагматик, а интеллигент — (невольный) революционер. Более того, в сознании последнего насилие способно переместиться в «анестезирующую» карнавальную плоскость, где боль других и даже своя собственная перестаёт ощущаться. Отсюда и потребность в эстетизации хаоса, вызванного утопиями и подменой их упорядоченным насилием [Стамел 1993: 79–102]. Очевидно, что в ответ первозданная природа бытия начнёт мстить за забвение ее законов.

«Уникальные» российские интеллигенты — это самые заблудшие (из-за чрезмерно развитой склонности к рефлексии) овцы бесконечного (не только своего, но и мирового) пространства. Российская интеллигенция «случайный», а потому наиболее отчуждённый от реалий элемент российской социальной среды. Отсюда пресловутое «хождение в народ» — истероидная попытка воссоздания общественной ткани *вопреки* власти. Сходное происхождение имеет либеральная критика «бюрократической» государственности.

Интеллигенция живёт идеологией — этой вульгаризованной формой веры и знания (К. Юнгер). Этому не стоит удивляться: люди, живущие мечтой, непременно окажутся в плену подражания «чужим». Интеллигенция в России, если согласиться с Г. Федотовым (а это едва ли не единственное, в чем с ним стоит согласиться), всегда объединялась «идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей». Впрочем, подражательность — это естественный двигатель прогресса, навязывающего определённые культурно-политические императивы всему миру. Известно, например, что английские либеральные представления о прошлом явно и подспудно, прямо и опосредовано осуществляли свой историко-идеологический диктат на протяжении нескольких столетий [Butterfield 1975].

Появление интеллигенции — это начальный этап становления *личности*, который в империи не может не быть болезненным. Личность не желает быть управляемой ни массой (разумеется, исключая случаи фашистских истерик), ни самодержцем. Указ о вольности дворянству породил не только Радищева и декабристов, но и эмигрантов-протестантов вроде Петра Долгорукова, оставившего ядовитейшее описание власти и ее холуёв. В адрес последних стоит заметить, что российская властная аура порождает не просто холуёв-исполнителей, а холуёв-романтиков, не просто идеологических наёмников, а помощников власти «по воле сердца». Характерно, что происходит это не сразу: российская интеллигенция начинала с игры в карты (по Ю. Лотману это универсальная форма борьбы с неизвестными факторами) и «говорильней» в клубах [Розенталь 2007:44].

Интеллигенция — это в известном смысле «праобщество», которое стремится стать собственно обществом. Но, будучи в действительности маргинальным сообществом, она по-вышенно эмоциональна, «обидчива» — вот почему она столь болезненно реагирует на все «деперсонализированные», «механические» (не согласованные с ней) решения и действия власти. Отсюда, с другой стороны, стремление интеллигенции идентифицировать себя с народом, доходящее до отчаянных попыток «хождения в народ». Ситуация *квазипатернализм* — *псевдообщество* сама по себе не только взрывоопасна, но и труднопредсказуема — лавинообразный (революционный) рост «малых возмущений» может начаться в любой момент. При этом она обладает самопожирающим качеством: тот же Петр Долгоруков не просто обгадил людей своего же круга, но и, скорее всего, явился косвенным виновником гибели Пушкина. Все это более чем символично.

Русский интеллигент — это не столько человек эпохи Просвещения, не реальный модернизатор, а скорее пародия на него. Эпоху Просвещения порой называют эпохой всеобщего Ослепления [Макаренко 2013: 593–594], но в России до сих пор в это не могут поверить. Не удивительно, что сегодня в России умиляются Романовыми и ностальгически вздыхают о былом имперском величии, измеряемом длиной казённых железных дорог (второй в мире!).

Интеллигенция «вечна» пока нет общества. Как ни парадоксально, в России она периодически продлевала свое существование, осуществляя челночные движения в служилое сословие и обратно. До поры до времени (пока сильная власть способна их содержать) штатные идеологи служат не на страх, а на совесть. Когда же возникает известное состояние, именуемое «рыба гниёт с головы», они на крысиный манер перебегают в лоно интеллигенции (символично, что в советское время власть пыталась отождествить «интеллигенцию» и «служащих»). Политика в России — это настоящая «русская рулетка», подsunутая интеллигенции

самой историей. Не понимая этого, она упорно продолжает бесконечную игру, ни на секунду не задумываясь над тем, что рано или поздно раздастся самоубийственный выстрел.

Интеллигенцию в России поносили и поносят. Охотно участвуют в этом и сами — вечно кающиеся — интеллигенты. Но чем бы оставалась Россия без интеллигенции?

Несомненно, кризисы власти в России (в широком смысле кризисы веры во власть) имеют общеонтологическую природу: «...Человек... жаждет завершенности и потому отдаётся в объятия тоталитаризмов, которые являются искажением надежды» [Рикёр 2002: 518]. Соответственно культурно-антропологическому наполнению свободы выстраиваются и государственно-исторические системы тотальности. К этому остаётся только добавить, что человек периодически «убегает» от им же создаваемых тотальностей самыми различными способами, причём русский человек делает это не путём сопротивления власти, а бегства *от нее* самой. Но эта кризисность обычно оборачивается кризисами служилого сословия (назначенной государством «элиты») во имя более совершенной власти. Массовое насаждение помещной формы землевладения при Иване Грозном со временем подогрело политические амбиции казачьей прослойки общества — отсюда своего рода «гражданская война», известная как Смута. Вместе с тем важнейший результат Смуты — создание жёсткого механизма извлечения совокупного прибавочного продукта [Милов: 560]. И в этом смысле Октябрьская революция больше напоминает Смуту, нежели Великую французскую революцию. И этому не приходится удивляться. Революция — это ещё и реанимация архаичных смыслов. Исследователи отмечают, что Октябрьская революция реактуализировала лексику (включая церковно-славянскую), восходящую к XV — XVII вв. [Успенский 1994: 187].

Увы, нынешняя интеллигенция идёт по тому же пути. Можно частично согласиться с утверждением, что «современный российский индивидуализм по своей природе не буржуазный, а варварский: он не сопрягается ни с трудовой этикой, ни с социальной ответственностью» [Пелипенко 2014: 217]. Конечно, это не «варварский» индивидуализм, а скорее индивидуализм анти-патерналистский, порождённый бегством от впавшего в маразм «барина».

В какой степени интеллигенция ответственна за российскую кризисность? Если последняя связана с восхождением к неведомому идеалу, то главный виновник — неуёмный мечтатель. Однако видовая особенность человека в том, что он не может существовать без мечты. В сущности, она и обеспечивает прогресс.

6. Когда прогремит гром?

Проблема поиска точки бифуркации, за которой удержание системы в равновесии становится невозможным, кажется интригующей. Между тем, это бесполезное занятие — все зависит от фактора непредсказуемости. Последний связан не просто с крайним обострением неверия во власть со стороны низов, а с неверием власти в самое себя, парализующем ее управленческие возможности.

В системном кризисе империи можно условно выделить уровни или стадии его протекания: этический, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, рекреационный [Булдаков: 343]. Соответствующие им компоненты действуют на всех стадиях его развития, но с различной интенсивностью. Это связано как с уровнем пассионарности тех или иных социумов, так и с тем, что механизм раскрутки и течения кризиса сопровождается характерными изменениями массового сознания и психологии. В любом случае преобладает не рациональная, а эмоциональная мотивация того или иного выбора.

6.1. Этический компонент кризиса наиболее трудноуловим социологически. Но не стоит преуменьшать его значения. Смута в умах и душах подданных невозможна без видимого грехопадения власти.

Предпосылки Смутного времени уместно искать в неистовствах Ивана Грозного. Ощущение, что династия выродилась [Столярова 2014: 6–11, 18–19] (превратилась в свою инфернальную противоположность), вероятно, могло оказать ошеломляющее воздействие на умы. Династический надлом мог быть воспринят как грядущее «воздаяние за грехи». Разумеется, для погружения в пучину хаоса этого было недостаточно, хотя несомненными знаками этического отторжения от системы становились возрождаемые средневековые образы «благородного разбойника», социального «отщепенца», «хищника» и «изгоя» [Лотман, Успенский 1982]. Героические черты может обрести даже горьковский босяк и «невинно» пострадавший уголовник.

Нравственные коллизии, предшествовавшие российским революционным взрывам начала XX в., в значительной степени были производным от столкновения глобальных эконо-мыслительных парадигм — традиционно-патерналистских представлений о власти и идеологии Просвещения. На фоне рационалистичной декартовской струи в общественном сознании «отеческое правление» могло предстать синонимом иррационального застоя, противного естественному движению прогресса. Впрочем, для А.Н. Радищева самодержавие стало, в первую очередь, вместилищем вселенского греха и воплощением абсолютного зла для народа.

Моральную проповедь подхватила русская литература, подспудно усвоившая революционную эсхатологию. Началась подготовка бунтарей, взявшихся освободить страну от любой скверны, причём одержимых жаждой справедливости экстремистов оправдывали либералы. В конечном счёте, сознание российского образованного слоя оказалось сконцентрировано на «моноидее»: для революционеров ее воплощение связывалось со справедливым и рациональным «народным» мироустройством, для либералов — ещё и с прозападными представительными институтами, для бюрократов — с «совершенной» манерой управления. Строго говоря, в исторической ретроспективе все это не столь оригинально — достаточно вспомнить о богомильских и анабаптистских проектах прошлого.

Впрочем, никакие утопии не пробили бы себе дорогу, не будь разложения *официальной* идеологии. Перед падением Романовых Русская православная церковь оказалась в состоянии ступора: часть ее иереев скомпрометировала себя связью с Распутиным, налицо было ее организационно-управленческое бессилие, священники-депутаты Государственной думы требовали реформ. В литературе даже высказывается мнение, что так называемая церковная революция «опередила» отречение своего главы — Николая II [Фриз 2015: 103–112]. «Погубленные таланты и развращение нравов могут разбудить в человеке палача», — предупреждал в свое время Ф.М. Достоевский.

В советское время этический компонент кризиса был связан преимущественно с крахом хрущевской авантюры построения коммунизма. В патерналистской системе эмоциональная реакция на невыполнение обещанного не могла не быть всеобъемлющей. А поскольку советская нравственность была замешана на служении коммунистической идее, громадную роль сыграло «разоблачение» так называемого сталинского террора. Не случайно появление квизи-Радищева — А.И. Солженицына, человека доктринёрского склада, призвавшего «жить не во лжи». Глубину разложения советского общества символизировало положение искусственно создаваемых «элит»: образованные люди были лишены возможности естественного самовыражения. Информационные связи стали работать на разрушение системы: дело дошло до того, что антисоветские анекдоты пересказывались генсекам. Верхи потеряли ориентацию: вместо внятной концепции общественного развития с уст последнего генсека слетали стереотипные заклинания о «социалистических ценностях» и «идеалах Октября», вызывавшие всеобщую аллергию.

Подобная ситуация в патерналистской системе может повторяться до бесконечности. Власть вольно или невольно обрубает корневую систему, ее питающую.

6.2. Идеологическая составляющая кризиса связана с оформлением альтернативы существующей форме правления — путь скорее умозрительной, нежели реальной.

Иногда зарождение «конституционной альтернативы» связывают с посланиями А. Курбского Ивану Грозному. На деле никакой альтернативы Курбский не предлагал, а лишь клеймил царя, который, якобы «дьяволом послан на род христианский» [Переписка... 1981: 119, 121]. Между тем, свои жестокости царь считал делом естественными: «Даже во времена благочестивейших царей можно встретить много случаев жесточайших наказаний», — полагал царь, — так они спасали свои царства «от всяческой смуты и отразили злодеяния и умыслы злобесных людей». А, в общем, имея власть от Бога, русские государи «ни перед кем не отчитывались, но вольны были жаловать и казнить своих подданных, а не судились с ними не перед кем...» [Переписка... 1981: 128, 129, 144]. Вполне аналогичная ситуация возникла в СССР с той лишь разницей, что на месте Бога оказался идол «самого совершенного общественного строя».

С точки зрения тогдашних российских представлений о власти Грозный был прав. Тем не менее, риторика Курбского со временем должна была взять верх — протестанты в эпоху общественных нестроений размножаются в геометрической прогрессии, тогда как деспоты единичны по определению.

Семена последующего кризиса идеологии были заложены ещё во времена Петра. «Люди, командированные правительством для усвоения надобных ему знаний, привозили с собой образ мыслей, совсем ему не нужный и даже опасный... — писал по этому поводу В.О. Ключевский. — ...Против правительства, борющегося со своей страной, стал просвещённый на правительственный кошт патриот, не верящий ни в силу просвещения, ни в будущее своего отечества» [Ключевский: 316]. Это, в сущности, так было создано первое поколение интеллигентов. Строго говоря, само столь демонстративное подновление фасада империи было чревато растущим противоречием между ожидаемым и действительным *внутри* ее тела.

В конце XIX и, особенно, в XX веке идеологическая составляющая в жизни всех народов приобрела качество былых религиозных «эпидемий». В том время, как идеология Просвещения опиралась на становление *творческой* личности, колоссальный рост народонаселения и урбанизация привели к повсеместному возрождению стадных инстинктов. В сущности, именно этот фактор предопределил всю судьбу XX в. А.Л. Чижевский считал, что при определённых внутренних условиях общество становится беззащитным интеллектуальным вирусом, вызывающим инфекцию той или иной идеи, которая «приводит в движение огромные человеческие массы, помыкая ими» [Чижевский 1995: 352]. Но это вовсе не предполагает материализацию одного лишь «призрака коммунизма» — всякий вирус в новой среде претерпевает настолько сложные мутации, что подчас невозможно распознать его истинное лицо.

Характерно, что движение декабристов — *за* империю, а не против нее — менее чем за сто лет увенчалось оформлением партийно-политической системы, ставшей тотальным отрицанием самодержавия. В основе российских партий, чисто символически представлявших классы или сословия наборами соответствующих идей, лежала не политика, как таковая, а социально-нравственные максимы и/или утопии. Революционный взрыв это всего лишь соединение традиции и утопии на пике людского отчаяния — и ничего более. Подобные эмоции и обеспечивают и углубление системного кризиса до стадной архаизации социального пространства.

Несомненно, марксизм, как идеология, адресованная массам, носил в себе элементы и доисторических поверий, и мессианских надежд, и эсхатологически-хилиастических ожида-

ний. Безусловно, он соответствовал структуре перевозбуждённого синкретического сознания. Но поставить магическое на службу бюрократии вряд ли возможно. Тем не менее, откат от мифического социализма носил характер новой волны доктринального неистовства — бываюют времена, когда, по словам Умберто Эко, даже «глубоко знающие люди, с тончайшим интеллектом», с лёгкостью отдаются «ночным химерам».

Более примечательно, что новейшие доктринёры не оставили традиционно российских упований на власть: не случайно их заведомо ложным символом стал Пётр I — неуёмный недоросль, поднявший Россию на дыбы отнюдь не ради западной демократии (Д.С. Мережковский то ли в шутку, то ли всерьёз назвал его первым русским интеллигентом). Как бы то ни было, по вневременной шкале интеллигентских оценок петровские метания и бесчинства оказывается нельзя назвать иначе, как реформами [Стародубовская, Май 2001]. Но стальгия подменяет идеологию [Макаренко: 623–624]. Очевидно, что в действительности нормальным реформам должно предшествовать их широкое обсуждение в обществе. Между тем, в России до сих пор преобладало именно этатистское понимание реформ. Люди, придерживающиеся столь странных установок, должны либо переродиться, либо сойти со сцены.

6.3. Политическая составляющая кризиса в минимальной степени отвечает классическим понятиям *политии*. Применительно к Смутному времени ее проще назвать боярскими «разборками». В 1917 г. политика странным образом синхронизировалась с поэзией [Буладков 2013: 367–393]. И если нынешняя политическая ситуация напоминает картину тех времён, то это не случайно.

Российская политика связана исключительно с сопротивлением слабеющей власти, которое крайне поздно приобрело организационное оформление. Скорее это риторичная и ригоричная «протополитика». «У нас выработалась низшая форма государства, вотчина, — писал в свое время В.О. Ключевский. — Это собственно не форма, а суррогат государства» [Ключевский 1968: 377]. С критики *такого* государства и начинали, причём политическая культура образованного меньшинства резко отличалась от этатистских представлений низов. Ситуация сохранилась до нашего времени.

По большому счёту, российская политика — это производное от слабости авторитарных начал. Она не случайно напоминает о себе в предреволюционное время активизацией молодого поколения. По сути дела это бунт «детей» против «отцов» за делёж власти. Чисто внешне это может походить на борьбу за парламентскую систему.

Партийно-политическая система 1905–1917 гг. стала не средством диалога народа и власти, а орудием нагнетания управленческого хаоса. В ее рамках даже неумеренное верноподданничество (в лице пресловутых черносотенцев) усугубляло положение власти. А поскольку со временем хаос предстояло обуздать тем же революционерам, для Сталина главным пугалом стал не Милюков, а Троцкий. Да и сам «вождь народов» был вовсе не «консервативным революционером» [Mayer 2000: 116], а ограниченным отщепенцем, которому русская смута предоставила шанс сыграть сперва роль «благородного разбойника», затем — «многомудрого патриарха».

Примечательно, что такого рода многопартийность упорно отвергалась традиционной российской политической культурой. В свою очередь в среде «прогрессивной части» номенклатуры оказывалось немало скрытых полудиссидентов, легко менявшей ориентиры в соответствии с «велениями времени». В любом случае уместнее говорить о так называемых циркуляциях внутри служилого класса (а не собственно элит) — такова визитная карточка всех русских смут. При этом слишком многое зависело от стихии людских эмоций.

«Людей, замышляющих общественный переворот, следует разделять на таких, которые хотят достигнуть этим чего-либо для себя, и на таких, которые имеют при этом в виду своих детей и внуков, — писал в свое время Ф. Ницше. — Последние опаснее всего: ибо им прису-

ща вера и спокойная совесть бескорыстных людей». Революционные «бессребреники» пока пребывали в спячке. Возможно, именно по этой причине «испуг неожиданности» породил у них поистине безграничные иллюзии, заставляющие в свою очередь потакать столь же нетерпеливым толпам.

Поистине роковое значение для судеб революции имело то, что все тогдашние политические элиты мыслили и, соответственно, пытались действовать в рамках прогрессистско-просветительской парадигмы. Всякая возможность попятных народных движений, воспринималась ими как «реакция», спровоцированная «тёмными силами». Подлинной природы происходящего они не могли понять.

Строго говоря, начиналась та специфически российская форма социальной революции, когда массы охотно впитывают заманчивые новые слова, полагая, что участвуют в некоем действе, в сакральном контексте которого любые их поступки становятся заведомо оправданными. Политикам же приходится делать вид, что именно они управляют событиями.

Поистине решающим событием 1917 г. стал «мятеж» генерала Корнилова. Совершенно очевидно, что он действовал в угоду укрепления власти, но результат оказался противоположным. Корниловское выступление оказалось одним из тех политически невнятных событий революции, которые подхлестнули народную стихию. Точно также переломным моментом революции 1917 г. стал так называемый мятеж ГКЧП — событие поразительно узнаваемое [Лозо 2011].

Как бы то ни было, вялотекущая революция 1991 г. произошла без революционеров, но зато при избытке квазиреволюционеров и псевдореволюционеров. Есть даже опыт классификации тех и других: «догматики», «любители», «реформаторы», «паяцы», «болтуны» [Тарасов 2005: 5–6]. Лично я не вижу особого смысла в таких дефинициях — и тех и других было в избытке и в годы застоя. Другое дело, что в наши дни почти не нашлось людей, готовых жертвовать жизнями за свои убеждения и заблуждения.

Нынешняя российская — легко управляемая — многопартийность превращается в средство имитации демократии. Конечно, в критические моменты истории настоящая демократия достойна самое себя лишь в связи со способностью к самоограничению: европейская политическая мысль — от Франсуа Гизо до Карла Шмитта — не случайно возвращалась к идее «демократического» единства правителей и управляемых. (Которая могла в лучшем случае обернуться авторитаризмом, в худшем — фашизмом!). Не столько давно кремлёвские эпигоны пытались ввести в оборот понятие «суверенной демократии», но она способна обеспечить лишь такую же управленческую «эффективность», как некогда «советская демократия». Если не хуже того.

Вообще термин суверенитет может служить одним из наглядных примеров того, какие метаморфозы происходят с иностранными заимствованиями на русской почве. Суверенитет буквально означает верховную власть, *независимую* от кого бы то ни было. В распадающемся СССР этот термин поначалу служил эвфемизмом, призванным декларировать *независимость от центра*, а со временем стал прикрывать *стремление центра быть независимым* в своих действиях от кого бы то ни было. Круг замкнулся — современная российская власть приблизилась к идеалам Ивана Грозного.

6.4. Организационный компонент кризиса связан с растущей неэффективностью, а затем и распадом управленческих структур, включая вновь возникающие. Империю можно представить как систему исторически функциональных иерархий, которые должны поддерживаться в состоянии динамического равновесия. В самодержавной империи это происходило не столько в результате их взаимной притирки и конвенционального сотрудничества, как с помощью управленческих импульсов, исходящими из центра. В известной степени власть получала сигналы-подсказки снизу — чаще в форме «слезниц» и доносов. В принципе импер-

ские иерархии культуры должны не механически подстраиваться друг под друга, а *сосуществовать* для решения общих задач — в целом это *устойчиво неравновесная система*.

По большому счёту нарушение равновесия было обусловлено тем, что быстрая и неупорядоченная модернизация наталкивалась не обыкновенное людское непонимание: Основная масса населения оказалась настроена на пассивное (поначалу) сопротивление любым изменениям. Известно, что тяга к архаизации нарастает прямо пропорционально «непонятности» происходящего. Человек склонен сомневаться в справедливости любой «чрезмерной» упорядоченности [Яковенко: 59–69]; в начале XX в. и, особенно, в его конце люди начали остро страдать и от обилия законов, и от бытового (псевдо/капиталистического) «беззакония».

Кроме того, острота организационного кризиса оказалась связанной с непредсказуемыми внешними воздействиями (неумением реагировать на изменившиеся обстоятельства) и внутренними управленческими сбоями, порождёнными неумением реагировать на них. Все это вновь отразилось на людских эмоциях. Теперь люди усматривают в законе «не обдуманную необходимость, а не допускающую рассуждений угрозу» [Ключевский 2000: 331]. Организационный развал не случайно чреват территориальным распадом державы.

Конечно, наиболее причудливые параметры организационный кризис приобрел во времена Смуты — он перестал корректироваться Властью и Верой. Решающую роль сыграла неспособность правительства накормить народ во время голода. Поражает также обилие всевозможных самозванцев. Однако, приказной аппарат работал относительно независимо от них — он был более органично связан с местами, чем с правителями и претендентами на их место [Лисейцев 2009].

Как известно, к началу XIX в. Россия обладала уже совершенно иной — иноэтничной и космополитичной управленческой элитой. В принципе, масонствующие управленцы могли бы выстроить в России «регулярную» государственность, столь необходимую для преодоления пережитков удельно-приказной системы. Но это было возможно только при синхронизации управленческих инноваций с процессом формирования гражданского общества. Вот об этом последнем не задумывались, хотя феномен декабризма давал на этот счёт недвусмысленный намёк.

Как ни парадоксально, империя окончательно вступила на роковой путь, когда ее аппарат стал модернизироваться для более эффективного изымания податей с косного и малограмотного населения. Для любой власти нет ничего худшего, чем непонимание со стороны низов. «Эпоха империализма» требовала принципиально иного типа консолидации общества, нежели во времена Минина и Пожарского. Теперь культурные верхи стали казаться низам совершенно чужими, «немецкими», враждебными в своей основе.

Теоретически, ощущение всеобщей угрозы способно сплотить население в рамках общегражданских чувств. На деле, власть и народ все меньше понимали друг друга. В значительной степени это было связано с тем, что в России «прогресс» изначально приобрел анклавно-индустриалистский, «западнический» по духу характер. Не будучи подкреплён соответствующими подвижками в сознании масс, этот фактор мог резко дестабилизировать внутриимперский баланс в критических ситуациях. К этому стоит добавить, что та часть традиционных средних слоёв города (без которой, между прочим, невозможно смягчение превратностей капиталистического развития), была настолько патерналистски зависимой, что оказывалась неспособна внести в общественную мораль необходимую долю прагматизма. В любом случае «модернизирующие» элементы не только заштатных и уездных, но даже губернских городов тонули в мещанском болоте.

Примечательно, что в самом начале Первой мировой войны известный народнический автор А.В. Пешехонов предостерегал, что российская «государственная и общественная организация совершенно не приспособлена для выражения и реализация общей мысли, общего

чувства, общей воли» [Русское богатство 1914]. Он оказался прав: коммуникативные связи, деформированные полицейским патернализмом, работали не на формирование национального единства, а на взаимную подозрительность. Особенно заметно это сказалось на отношении к «внутреннему врагу» — «пособнику кайзера» в лице то этнических немцев, то большевиков. Российский патриотизм оказался пронизан иррациональной ненавистью и всеобщими подозрениями

Казалось бы, военные возможности России определялись быстрым ростом индустриализма. На деле положение было сложнее. Буржуазия в России дробилась на купечество и собственно предпринимателей новой формации, соединения «капитала ума и капитала денег» не получалось. Протекционистские формы государственного индустриализма развращали и учёных, и предпринимателей. И хотя идея «американизации» предпринимательства получила распространение, у нее были серьёзные противники [Аньич: 107].

При этом важнейшую роль в падении самодержавия сыграл «межрегиональный конфликт», вызванный его неспособностью вовлечь земские и городские учреждения в органическое сотрудничество в условиях тотальной войны [Земский феномен... 2001: 197–198]. Он был подготовлен разделением сферы управления на военную и гражданскую. 17 октября 1914 г. министр внутренних дел Н.М. Маклаков заявил о пагубности разделения губерний на обычные и прифронтовые: «Два правительства — дом сумасшедших» [Совет министров... 1999: 85]. В конфликт «общества и власти» втянулись частные предприниматели, использовавшие аргументы либералов для нейтрализации обвинений в провале снабжения армии. Казалось, между действиями правительства и устремлениями народа возникла стена. Развал власти провоцировался и изнутри ее самой — отражением этого процесса стала пресловутая «министерская чехарда».

Объективно перед русской имперской культурой (учитывая тотальный характер войны) встала вполне практическая задача: победить в себе «русскую бабу» (Н.А. Бердяев). Практически это предполагало ориентацию на рационалистически-мобилизационный («немецкий») тип культуры. Однако, напротив, в русской мысли демонстративно обозначилось славянофильски-соборное начало, причём эмоциональная взвинченность порой придавала ему почти карикатурные формы. Как результат последовал настоящий *культурно-организационный* коллапс. Исследователи справедливо отмечают, что «межсистемное неустойчивое равновесие России начала XX в. разбилось о войну» [Дьячков, Протасов 1999: 66].

Современный организационный коллапс связан с крахом «распределительной экономики», чудовищно деформированной и отягощённой военно-промышленным комплексом. При этом советское государство было призвано удерживать общество в перманентно *мобилизационном* состоянии [Макаренко: 246]. Только так СССР мог существовать с «веком наравне». Однако со временем ни комбюрократия, ни ее подданные психологически не выдержали мобилизационного напряжения.

Сказывалось и растущее противоречие между доктринальным и реальным, проще говоря, — между обещанным и «выдаваемым». Распад СССР был подготовлен не действиями всевозможных сепаратистов, а неспособностью центра накормить регионы — в них стало складываться представление, что если бы он не изымал сельскохозяйственную продукцию, то они «жили бы при коммунизме». Именно это обусловило устойчивое развитие центробежных тенденций, которые на деле имеют мало общего с феноменом «колониальной неблагодарности». В основе феномена «внутреннего колониализма», в отличие от колониализма внешнего, лежит трудноуловимый фактор «доверия».

Последующее развитие организационного кризиса оказалось связано с неспособностью реформаторов (вновь, как и в 1860 – 70-е годы) учитывать реакции на свои преобразования [Леонтьева 200: 78–79]. Символично, что М.С. Горбачев, подобно Николаю II, превращался в

«жертву» им же введённого «сухого закона». Сами новейшие демократы признавали, что «отношение к народу, как к быдлу, сыграло роковую роль» в их падении [Старовойтова 1995]. Но основная причина неудач была заложена изнутри: «Советское воспитание и крестьянская ментальность не различала предпринимателя и халявщика» [Яковенко: 144]. На фоне «модернизационной» риторики в обществе преобладала «застойная» (при этом злая!) психология. Модернизация, помимо всего, требует роста общественного взаимодоверия. Напротив, тогдашние этноконсолидационные процессы, которые затем сменил «парад суверенитетов», явились реакцией на дегуманизацию социального пространства, исходящую *сверху*.

Конечно, трудно подсчитать, до какой степени чиновничья косность и цинизм, а равно и представления о том и другом, создают общественно деструктивный эффект. В начале XX в. по отзывам современников (безусловно преувеличенным) в верхах сконцентрировалась «вся гамма российских бездарностей, слабоумцев, истериков и разбойников» [Берберова 1983: 91–92]. К концу XX в. в обществе заговорили о принципе «негативной селекции», с помощью которой формируется правящий коммунистический слой. Управленческий кризис «развитого социализма» отражал неспособность бюрократии и «красных директоров» обслуживать утопию иначе, как с помощью приписок, с одной стороны, под прессом внеэкономического принуждения — с другой. Это было закономерно: власть лишь распоряжалось собственностью, которая принадлежала... *никому*. Обращаться с советским «условным владением» приходилось «виртуально». Противоестественность такого положения рано или поздно должна была вылиться в глубокий — психологический, прежде всего, — кризис.

С другой стороны, советская экономика поддерживала свое существование за счёт неформально-распределительных связей региональных управленцев с центром. При этом усиливавшаяся «виртуальность» распределительной экономики развращала всех и вся. На ее почве складывалось сообщество «неформалов» — именно из их среды (а не из разгромленных диссидентов) составила оппозиция времён Горбачева. Первоначально их деятельность ограничивалась организацией всевозможных клубов и «круглых столов», затем последовали митинги: только в феврале 1989 г. их было проведено свыше 2 тыс. [Журавлев 1994: 295–297, 315–316] — так в глазах общества происходила легитимизация новой элиты.

Организационно-управленческая нестабильность пронизывала все время президентства Ельцина. Тон задан был экономистами гайдаровской школы, доктринальная решительность которых напоминала о временах военного коммунизма. Но важнее отметить другое: стремление перевести нерентабельные отрасли народного хозяйства на режим самовыживания обернулось реанимацией моноэкспортной экономики [Breslauer 2001: 53]. А хозяйственная «однобокость» всегда уязвима — ситуация сравнима с ролью зернового производства в экономике царской России. С другой стороны, спекуляция советских времён выросла до банковского ростовщичества («рентабельность» здесь оказалась намного выше, чем в секторе реальной экономики [Болдырев 2003: 175]). В путинские времена эта тенденция, похоже, окончательно закрепилась. Возникает вопрос: какое хозяйственно-организационное будущее ожидает Россию при господстве монополюсно-рентных и государственно-ростовщических форм извлечения прибыли?

Может показаться, что анализ развала империи можно ограничить ее организационно-экономическим аспектом. Это было бы возможно, если бы бактерии разложения порождались только управленческой средой. Но в том-то и дело, что этот процесс развивался и в иных сферах. Если во Франции Старый порядок определялся триадой «Юстиция, полиция, финансы», то российский государственный порядок начала XIX в. намеревался утвердиться, опираясь на «православие, самодержавие, народность».

Современные исследователи обычно избегают вопроса о моральном состоянии Русской православной церкви в эпоху кризисов. И здесь кризисные явления не ограничивались выро-

ждением синодальной системы управления. «Идеологи» режима — священники — подчас сами задавали тон общественному разврату [Булдаков 2014: 107–110]. Нечто подобное стало происходить и внутри «руководящей и направляющей силы» советского общества.

Всякая эффективная организация должна задавать тон общественной нравственности. В противном случае всякие «модернизационные» усилия рано или поздно обернутся организационным кризисом. Людские сообщества консолидируются не только и не столько насильем, как общими целями и ценностями.

6.5. Социальной составляющей кризиса была связана с попыткой переструктурирования системы снизу: отдельные социумы пытались выжить за счёт всех других. Каждый из них вёл «единственно справедливую» войну.

Маргинализация сословной структуры приняла поистине ужасающий характер во времена Смуты — тяглые люди «перебегали» в другие сословия, служилые убегали со службы, шло тотальное разложение социальной ткани. Но процесс не приобрел необратимого характера: модернизации хозяйства не производилось, подгонять распад социальной среды было некому.

Социальный кризис начала XX в., напротив, предполагал решительную перетряску верхов и низов. В 1917 г. в конфликт втянулись буквально все «трудящиеся» на основе ложной идентификации: служащие возомнили себя «пролетариями пера», порой даже полицейские отождествляли себя со всем народом [Леонов 2003: 136]. Социальные эксцессы психологически стимулировались ненавистью к «эксплуататорам-кровопийцам» — налицо был спонтанный вброс архаических представлений в «классовую» среду. В конечном счёте, это обернулось растаскиванием общественного богатства под видом экспроприации «чуждых» классов, «враждебных» этносов и отдельных лиц.

В сущности, все новейшие беды России связаны только с тем, что ее социокультурное распадение на «город» и «деревню» стало к началу XX в. болезненно заметным на бытовом уровне, а война усилила персональную остроту этого ощущения. Все формирующиеся гражданские, полугражданские и протогражданские общества оказались бессильны отвести катастрофу, хуже того, они приблизили ее. Галопирующая маргинализация (выпадение из без того разрушающихся сословных границ традиционных социумов) довершила дело. Теоретически можно предположить, что в результате общенародного подъёма, сопровождающегося встречными движениями со стороны власти, движение к гражданскому обществу — единственное, что могло обновить, то есть «спасти» империю, — могло стать необратимым. Однако, на деле, архаичная сословная структура России лишь пополнилась олигархическим компонентом и гигантской массой маргиналов.

Социальные страхи перед неведомым вызывали к жизни феномен этноконсолидации и этноизоляции. Это явление, разумеется, получило ложное — сепаратистское — истолкование. Так называемые национальные движения начала XX в. были связаны, главным образом, со сложностями социального выживания. Примечательно, что большевики, поддерживавшие «национально-освободительные» движения внутри империи до Октября и вне ее в последующее время, всячески отмежёвывались от «буржуазных националистов». Между тем, как отмечают современные авторы, «любой национальный конфликт развивается не только как некая последовательность развития событий, но и как столкновение их интерпретаций. То, что говорится, порой не менее убийственно, чем действия боевиков и погромщиков» [Абашин 2007: 73]. Прошлое никогда не уходит.

После роспуска Советского Союза неслучайно получили развитие сходные процессы — попытки селективной приватизации и производственного самоуправления (на манер фабзавкомов 1917 г.) скрывали стихию очередного передела собственности, которая сопровождалась всеобщей растащиловкой. При этом следует иметь в виду, что в советское время общество

фактически было деструктурировано в связи с ещё большим возобладанием пассивно-потребительских интенций над производительными. Как результат, самостоятельные хозяйствующие субъекты вымывались из социального пространства. Труженики города и деревни не желали, чтобы их дети были втянуты в промышленное, или, тем более, в сельскохозяйственное производство, а поголовно стремились направить их в сферу обслуживания или управления.

При этом социальный кризис носил более управляемый, нежели в прошлом, характер. Хотя рабочие, как и в 1917 г. поначалу выдвигали требования без трезвой оглядки на реальность, их движение оказалось куда более аполитичным. Говорить о том, что они распаляли себя образом классового врага, не приходится. В целом социальная составляющая кризиса оказалась довольно слабой, а итоги конфликтов неутешительными для трудящихся.

Примечательно, что основные производительные страты — рабочие и колхозники — в конце XX в. утратили свои былые статусные позиции. Напротив, социальный престиж работников сферы обслуживания неоправданно возрос. Произошла также катастрофическая девальвация образования. Что касается науки, то целые ее отрасли оказались попросту ненужными.

Конечно, люди воспитанные в категориях марксистской политэкономии будут искать «принципиальные» различия между кризисами в отношении собственности. Но не стоит обманываться: в 1917 г. в условиях нехватки жизненно необходимого люди решили, что справедливость в ликвидации богатых; в 1991 г. в обстановке тотального дефицита они «дозрели» до довольно своеобразного понимания необходимости избавления от бедных — методом шокового их «лечения». Социальная справедливость, между тем, может быть построена на основе *труда*, а не *распределения* его продуктов государством. В значительной степени это оказало свое воздействие на идеологию национальных движений: стоит вспомнить рассуждения о «региональном хозрасчёте» перестроечных времён. Возможно, такие аналогии составляют самые главные уроки российской истории.

6.6. Охлократическую составляющую кризиса не следует отождествлять с анархией. Она связана с выдвиганием на первый план маргинальных и диссипативных элементов, которые исходят из воинственно-захватнических установок. В этот период правят бал толпы, или соответствующие поведенческие стереотипы.

Толпы легко находят своих вождей. Имеются в виду не просто личности диссипативного склада (свободные радикалы), а феномене интеллигенции. Если слой образованных людей не находит применения своему естественному призванию к лидерству и управлению, то рано или поздно из него сложится антисистемное сообщество, руководствующееся постулатами, изначально противными оттолкнувшей их государственности. И поскольку подобный слой изначально отрицает язык патерналистской власти, то рано или поздно его доктринальные установки начнут резонировать с народными утопиями и предрассудками.

Всякое потрясение имперской системы — особенно неожиданное — меняет структуру и «дух» ее коммуникативных связей. Меняется и людская психология, причём отнюдь не в ожидаемом политическими деятелями смысле. Непредсказуемый переворот делает людей «другими», представив их друг другу с совершенно неожиданной стороны. Люди перестают адекватно реагировать друг на друга, соответственно, растут взаимные страхи.

Революционные массы не понимают «сложностей» реструктурирования системы, особенно, если инициативы реформаторства исходят от культурно чуждых элит по заведомо запоздалым или чуждым низам сценариям. Зато радикалы охотно пользуются плодами неудач новых верхов. В таких условиях толпы легко находят своих «настоящих» вождей среди тех, кто нацелен на «углубление революции». Для последних наступает поистине звёздный час восторженной популярности. В 1917 г. многие латентные этнофобы и боязливые ксенофобы, распаляя себя, старались придать своей ненависти некое классовое содержание. Такое вну-

треннее перерождение революции было неизбежно. Только соединив радикальную доктрину со старыми, как мир, племенными страстями можно было победить в гражданской войне — таков естественный источник революционного вождизма.

Охлократия проявляет себя в условиях, когда коллективная психика регрессирует до архаичных модальных отношений, а инфантильные эмоции доминируют на всех уровнях общественной организации [Гроф 1993: 420]. Особенно это заметно в точках бифуркации — вожаки охлоса, сами того не сознавая, задают и навязывают цели, установки и образ действия всему обществу (а затем и революционной власти). Поскольку охлократия практикует вызывающие формы самопрезентации, связь лидер-масса приобретает упрощённый «вождистский» характер. На этой основе возникает ощущение внутрисоциумной спайки, способной противостоять враждебному миру.

Во времена Смуты охлократия означала господства вооруженных разбойников, грабящих всех подряд. Порой атаманы претендовали на роль самозванцев; неудачливые претенденты на престол, напротив, опускались до роли предводителей банд. Поражает жестокость расправ, становящихся основным средством властеутверждения. Даже после воцарения Михаила Романова Москва страна оставалась в развалинах, «повсюду бродили шайки под названием казаков, грабили, сжигали жилища, убивали и мучили жителей» [Костомаров 1991: 2].

В 1917 г. охлократия означала господство толпы и самосудных расправ на улице параллельно слабым действиям официальных органов власти (согласно Э. Дюркгейму генезис «цивилизованного» наказания начинается с регламентации процедуры самосуда). Уже в Февральской революции обнаружилось, что «уличные революционеры» действуют независимо от партийно-политических деятелей. Революция в целом произошла совсем не в тех формах, на которые рассчитывали политики, и эта тенденция усиливалась. Начиная с 1918 г. целые регионы оказывались во власти «революционных» банд неопределённой (или перманентно изменчивой) идейно-политической ориентации.

Революция произошла под знаком нетерпимости к «чужим», которые, как подозревали, притаились на самом верху власти. Её эйфорическое «интернациональное» единство некоторое время удерживалось ненавистью к старому строю. Избавление от «главного» врага само по себе не могло разрядить накопившегося раздражения. Более того, в силу неясности перспектив развития событий и по мере новых социальных лишений пространство «враждебных сил» стало неуклонно расширяться. Несомненно, решающую роль в этом сыграло уплотнение информационного пространства (начавшаяся череда всевозможных съездов) и растущая охлотизация социальной среды (самоорганизационные потенции масс явно уступали деструктивным процессам). В этих условиях слухи о росте местных «сепаратизмов», а равно и неуверенность власти по отношению к ним сыграли поистине подстрекательскую роль: под подозрением толп оказывались буквально все инородцы. Восторжествовала примордиалистская схема взаимоотношений между людьми [Булдаков 2014: 11–22].

Наиболее вызывающий характер охлократия приобретает в области культуры. Некоторое время старая и новая культуры существуют параллельно, затем положение меняется. Охлос отождествляет свое былое — реальное или мнимое — с господством старой культурной матрицы. Поэтому толпы утверждают свое господство демонстративным поношением и разгромом старой культуры [Buldaков 2014: 25–52].

Охлос кардинально меняет систему зависимостей между информационным пространством и социальной энергетикой. При слабости последней охлократия может приобрести замещённый характер, воздействуя через СМИ. Не случайно, что в конце XX в. в них произошло вторжение «низких» и уличных жанров — всего того, что в 1917 г. творилось на площадях. Однако говорить о том, что обществу искусственно навязываются насильственно-оргаистические формы поведения, вряд ли вполне справедливо — *mass media* резонируют с

импульсами массового подсознания. Отсюда «попсовый» характер публичной политики, явно обнаружившийся у Ельцина. Оказалось также, что средства донесения информации могут сделать «попсовость» единственным источником политического успеха — с этим связан феномен Жириновского. Оказалось, что в новейшее время охлос требует от лидера «балаганных» действий — эпатаж рождает весьма устойчивую *псевдохаризму*.

Этому способствуют и людские страхи — в 1990-е годы они многократно усиливались с помощью тех же *mass media*. Пик охлократических психозов пришелся на 1992 — 1993 гг., когда в условиях гиперинфляции, обнищания народа и пароксизме всеобщей подозрительности разнородные антиправительственные силы, казалось, составили реальную альтернативу существующей власти. Позднее развернулся процесс охлократического «проседания» культуры. В СМИ фактически легализовалась «культура дна» — этот феномен мог бы свести с ума самого Норберта Элиаса.

Но дело даже не в бесновании видимой части охлоса, а в тотальном откате культуры в прошлое. Между прочим, современные либералы справедливо отмечая модернизаторские шаги 1990-х годов (а они действительно были!) не учитывают ни силу нараставшего сопротивления им, ни противодействия *sui generis* охлоса всякому прогрессу [44]. Увы, наивный прогрессизм никак не может признать «глупый» традиционализм реальным фактором истории.

В условиях охлократии номинальная власть может лишь имитировать свое присутствие — иногда это помогает ей выжить. Однако и развал СССР, и уход Горбачева носили, в сущности, характер охлократического, а не «заговорщического», переворота. В любом случае охлократия провоцирует диктатуру, выставляя законную власть в роли усталого надоевшего клоуна.

6.7. Рекреационный компонент кризиса трудноуловим. Законы «самоорганизующегося хаоса» в социальной среде действуют неявно, ибо опираются на самое зыбкое в этом мире — смесь потаённых страхов, надежд и утопий. Именно их непредсказуемые комбинации способны заставить социальные силы, работавшие на разрушение системы, содействовать ее воссозданию. В значительной степени это обеспечивается взаимоуничтожением и/или энергетическим истощением диссипативных и пассионарных элементов. Сказывается и парадокс позиционирования — любой субъект изнутри определённой культуры невольно воспроизводит заложенные в ней стереотипы. Возможно рекреационный процесс стадиялен. Сначала преобладает самоаннигиляция, затем начинается поглощение диссипантов самой системой. Так или иначе он управляется эмоциями: «для ума все в будущем, для сердца в прошлом» (А. Платонов).

В Смутное время историческая (но не династическая!) власть была спасена низами. В те времена вопроса об изменении системы правления не существовало. Примечательно, что в ходе утверждения самодержавия возникали всевозможные соборные представительные органы, которые затем сходили на нет — привычная система властвования воссоздавалась вкравдчиво. Но уже «тишайший» Алексей Михайлович внушал «не сыновнее чувство, не сознание законности, а более всего рабский страх...» [Костомаров 103].

Революционеры XX в. пребывали в уверенности, что создают не просто справедливое, но и качественно новое общество. Массы, потеряв идентификационную (сословную, конфессиональную и т. п.) защитную оболочку, начинают им верить. Впрочем, ими движет поначалу не столько утопия, сколько ненависть. Лишь по мере ее истощения активизируется психологический механизм «бегства от свободы» и традиция смирения перед властью. Итогом становится утверждение «деспотической демократии». Государственность, таким образом, возрождается с помощью «перебесившейся» традиции. Удивительную «выживаемость» большевизма невозможно понять, исходя из так называемых объективных показателей, ибо его кор-

ни лежат не в социологии, а в психологии. Большевики использовали психологию толпы, воодушевляемой не только ненавистью и мстостью, но и надеждой. Строго говоря, большевизм представлял именно ту разновидность «политики», которая состояла на службе у людских страстей. А они всегда изменчивы. Наиболее символично это произошло во времена НЭПа, само название которого — нелепость (большевики, не создавая ничего нового, просто перестали мешать «старой» экономике). Аналогичным образом ельцинская власть укрепилась, даровав людям «право на анархию» в обмен на лояльность режиму [Федотова 2000: 38–39].

В глазах обескураженных толп большевики выступали одновременно в роли воинов и жрецов. А это, так или иначе, рано или поздно начинало притягивать. Организация — это всегда деспотическая форма идеи (Константин Леонтьев). Именно это позволяет преодолеть хаос.

Рекреационный процесс получает преобладание тогда, когда «человек толпы» вновь соглашается на роль существа, ведомого государством — не важно, каким. Большевики облегчили ему выбор, предложив квазирелигию построения «социализма в одной стране». В конце XX в. «бегству от свободы» помогали некоторые публицисты, убеждавшие представить кризис величиной иллюзорной, для избавления от которой достаточно внедрить оптимистичный рефлексивный дискурс [Минченко 2002]. И хотя это напоминало практику изгнания дьявола, очевидно, что преодоление кризиса действительно необходимо отказ от мазохистского самобичевания.

Конечно, рекреационный процесс корректируется и стимулируется стандартными приёмами самопрезентации власти. Исследователи отмечают, что в конце XX — начале XIX в. на региональном уровне имиджмейкеры стали создавать образы гиперактивных и вездесущих губернаторов, наделённых ко всему некими «чудодейственными» возможностями в решении личных проблем граждан [Малякин 2000: 18–119]. Этот способ оказался вполне эффективным.

В ходе описания российских кризисов встаёт «смущающий» вопрос: можно проводить аналогии, игнорируя «принципиальное» несходство переживаемых эпох?

Некоторые исследователи приходят к выводу, что синхронная историческая реконструкция функционирования власти в XVI, XVII и XX вв. способна выявить «реактуализацию некоторых элементов традиционного общества, которые обычно считаются поглощёнными последовательными волнами модернизации». Оказывается, этому лучше всего помогают традиции пресловутых кормлений [Кондратьева 2006: 156, 158] и «раздаточной экономики» [Бессонова 1997]. С этим трудно не согласиться. «Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными», — заметил некогда Н.В. Гоголь.

В разные исторические эпохи был «закинут» один и тот же бесправный, а потому «хитро-наивный» *Homo rossicus*. Он и сейчас не может разобраться, в каком историческом времени живёт. А потому о «несходстве эпох» лучше забыть — они относятся к числу обычных предрассудков новейшего времени, бесповоротно уверовавшего в собственную прогрессивность.

«Я сидел дома и по обыкновению не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать» [Салтыков-Щедрин 1906: 611], — иронизировал в свое М.Е. Салтыков-Щедрин. Много ли изменилось с тех пор? И кто примирит столкновение подобных «капризов», если не «отеческая» власть?

Рекреационный процесс не тождественен ни «возрождению», ни торжествующему «движению вперёд». К тому же он протекает поэтапно: не случайно после Смуты страна долго содрогалась от внутренних и внешних неурядиц, бунтов, войн, за которыми последовало крепостничество. Это означало не просто прикрепление производителя к владельцу, а пред-

полагало локализацию, а затем и специализацию производства в угоду государству. Наиболее дееспособная часть населения была лишена возможности освоения новых земель, овладения прибавочным продуктом и навыками рыночного производства. Вместе с бунтарством был подавлен творческий потенциал народа. Не приходится удивляться, что за «крепостнической демографией» последовали «оскудение центра» (истощение имперского ядра) и переселенческая политика (культурно-энтропийный процесс). Анализируя кризисы разных эпох, не стоит путать облегчение с избавлением — обычно получается, что хроническая болезнь оборачивается новым кризисом.

Нечто подобное произошло в советской России. Но здесь постреволюционная ситуация обострялась тем, что диспропорция между реальным, воображаемым и символическим, унаследованная элитами с петровских времён, поразила теперь «косные» низы. Слова расходились со смыслами, идеи превращались в магические заклинания. Вновь можно было ожидать «безумных» вывертов сознания не только от элит, но и масс.

Самообольщение утопией, якобы способной к самореализации в условиях «диктатуры пролетариата», возможно, представляло самый жуткий феномен новейшей человеческой истории, хотя его эсхатологические истоки хорошо различимы. Постреволюционное время всегда отмечено блужданием «коммуникативного разума» (Ю. Хабермас), пытающегося обрести некое «коллективное тело», наделённое «инстинктом истины» и призванное повергнуть «врага». Пролонгированность идентификационного процесса в России была обусловлена «неуловимостью» противника и/или многообразием «врагов». В конечном счёте, с помощью идеологических подсказок сверху, накладывавшихся на совокупность поверхностных суждений и эмоций низов, стала формироваться эксплицитная иерархия «чужих», противостоящих «своей» власти. И поскольку «коммуникативный разум» формировался на крайне архаичной «магической» основе, новому правителю осталось лишь демонстративно занять «пустующий» трон.

Архаизованные социальные системы, возглавляемые «вождём», имеют определённые «модернизационные» преимущества: всякое практическое действие эксплицитно и имплицитно обретает статус стимулирующего коллективного ритуала. И такие практики завораживают. Но как только «общее дело» десакрализуется и обесмыслится в связи с аксиологическим истощением социального пространства и/или слабостью «направляющей руки», система становится беспомощной. Собственно, так и случилось: подтвердилась конфуцианская мудрость, гласящая, что когда слова теряют смысл, люди теряют свободу.

Нынешние рекреационные потенциалы социумов *вновь* стреножены государством [Пастухов 2012]. Время большого «хапка» прошло, власть возвращает «потерянное» в наиболее удобной ей государственно-олигархической форме, возводя всевозможные «потемкинские деревни». Ощущение уверенности в своей судьбе слабеет в связи с непредсказуемостью ее деяний, человек погружается в атмосферу перманентного ожидания неблагоприятных известий. И никакой официальный оптимизм не рассеет общественных страхов, которые всегда становились на пути прогресса.

7. Культурный антропологизм и историческая цикличность

О повторяемости событий «по свойству человеческой природы» было известно со времён Фукидида. В сущности, на этой основе строились не только прогнозы, но и пророчества, наиболее известные из которых связаны с именем Нострадамуса. Эпоха Модерна перечеркнула антропологическое измерение истории, отдав приоритет материальному прогрессу. Постмодерн с его разочарованием в идеалах Просвещения, напротив, готов поспешно уступить место идее цикличности.

Некогда империя считалась идеалом государственного устройства. Ее совершенство определялось гармоничным сочетанием трех развитых форм государственной власти: монархии, аристократии и демократии, соответственно представленных императором, Сенатом и народными собраниями. Считалось, что империя удерживает эти формы от стандартной формы разложения, когда монархия оборачивается тиранией, аристократия — олигархией, демократия — охлократией. Формально, современность довольно близка к античной модели (президент, элиты, электорат), но злоупотреблять сравнениями, особенно применительно к современной России, не стоит. Старые формы могут быть наполнены качественно новым культурно-антропологическим содержанием, равно как новые оболочки могут скрывать господство традиционного начала. В частности, внешнее сходство позволяет автократичным системам дурачить современникам, скрывая свое истинное лицо за демократическим фасадом.

В сущности, исследователям модернизации стоило бы разобраться в одном единственном вопросе: что преобладает в человеческой природе — «ген модернизации» (потребность в творчестве) или «ген архаизации» (производное от страха перед неизвестным)? И, конечно, как они взаимодействуют в тех или иных исторических обстоятельствах? Вытекает отсюда и задача эпистемологического характера: способности человеческого разума к самообольщению и готовности его житейской «плоти» к самообману и самоудовлетворению.

Если желаемое недостижимо, то человек готов довольствоваться его имитацией. Верить в маячащий прогресс проще, нежели признать логику исторической неизбежности, вытекающую из нас самих. Было бы легко признать ущербность циклического восприятия истории и современности, если бы построенные на этой основе прогнозы не реализовывались в современной российской истории с пугающей быстротой. Люди привыкли жить иллюзиями. Особенно трудно сохранять трезвый взгляд на жизнь на фоне великой утопии. Бывают времена, когда только она и помогает человеку сохранить надежду. Но жить одними иллюзиями невозможно. Поэтому выбора нет [Булдаков 2013]: либо человек научиться управлять своей судьбой, либо останется заложником всевозможных шарлатанов. Готовы мы сегодня к этому или нет, но иного пути самопознания, кроме переосмысления всей истории России не остаётся. Не стоит надеяться на лёгкое решение этой задачи.

Удивительно, насколько основательно запутались отечественные аналитики в происходящем в 1990-е гг. [Игрицкий 1998]. Но совсем не удивительно, что в 2000-е гг. общественное сознание стало неуклонно сползать в конспирологию.

Как и встарь, человек остаётся жертвой химер своего воображения. Человечество едино, но короткий людской век не позволяет мыслить подобающими этой простой истине категориями. Образы и понятия «отечество», «родина», «власть», «империя» слишком легко перетекают друг в друга, не говоря уже о том, что национализм всегда прячется под маской патриотизма — особенно в условиях господства «гнилой лояльности» по отношению к «своей» государственности. Напротив, насилие над «чужими» легко поддаётся «сакрализации», а деспоту и тирану «защитившему» от них свой народ, заранее уготовано место в пантеоне национальных героев. Не приходится напоминать о несметном количестве шарлатанов, паразитирующих на «единственно верном» истолковании природы этнической конфликтности.

Совершенно очевидно, что единственным противовесом кризисности социального пространства является гражданское общество. Однако в России его как не было, так и нет — в сущности, само это словосочетание в русском языке играет роль симулякра, призванного заполнить вакуум правосознания. На протяжении столетий государство само раскраивало социальное пространство себе на потребу; в кризисные времена все искусственно им созданное начинало рушиться, оборачиваясь войной всех против всех. Преодоление кризиса завершалось реформированием социального пространства в угоду новой государственности.

Из этого следует, что Россия все ещё пребывает в состоянии кризисного движения в пространстве и времени. А исследователю остаётся только прикидывать, когда вновь «прогремит гром».

- Абашин С. 2007. *Национализмы в Средней Азии. В поисках идентичности*. — СПб.
- Ананьич Б.В. Российская буржуазия на пути к «культурному капитализму». — *Россия и Первая мировая война*.
- Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. 2005. *История России: конец или новое начало?* — М.
- Берберова Н.Н. 1983. *Курсив мой. Автобиография*. Т. 1. — New York. — С. 91–92.
- Бердяев Н. 1990. О власти пространств над русской душой. — *Судьба России*. — М.
- Бессонова О.Э. 1997. *Институты раздаточной экономики России: Ретроспективный анализ*. — Новосибирск.
- Болдырев Ю.Ю. 2003. *О бочках мёда и ложках дёгтя*. — М.
- Булдаков В.П. 2014. Пир во время чумы? Деморализация российского общества в пред-революционную эпоху: причины и следствия (1914–1916 годы). — *Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: история, филология*. — Т. 13. — Вып 8: История.
- Булдаков В.П. 2007. *Quo vadis. Кризисы в России: пути переосмысления*. — М., 2007;
- Булдаков В.П. 2013. Историк и миф. Перверсии современного исторического воображения. — *Вопросы философии*. — № 8.
- Булдаков В.П. 1997 (2010). *Красная смута. Природа и последствия революционного насилия*. — М.
- Булдаков В.П. 2013. Поэтические завихрения «Красной смуты», 1917–1920. — *Историк и Художник. Сборник воспоминаний и статей памяти профессора Сергея Сергеевича Секиринского*. — М.
- Булдаков В.П. 2001. Российские смуты и кризисы: востребованность социальной и правовой антропологии. — *Россия и современный мир*. — № 2(31)
- Булдаков В.П. 2005. Системные кризисы в России: сравнительное исследование массовой психологии 1904–1921 и 1985–2002 годов. — *Acta Slavica Japonica*. — No. 22
- Булдаков В.П. 2009. Революция как проблема российской истории. — *Вопросы философии*. — № 1.
- Булдаков В.П. 2014. Россия, 1914 — 1918 гг.: война, эмоции, революция. — *Россия в годы Первой мировой войне, 1914–1918*. — М.
- Вишневский А.Г. 1998. *Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР*. — М.
- Власть и оппозиция... 1994. *Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия*. Под ред. В.В. Журавлева. — М.
- Гастев А. 1921. Наши задачи. Наша практическая методология. — *Организация труда*. — № 1.
- Громько А. 2007. Каток истории. — *Литературная газета*. — 15–25 сентября.
- Гроф С. 1993. *За пределами мозга*. — М.
- Дебор Г. 2000. *Общество спектакля*. — М.
- Дьячков В.Л., Протасов Л.Г. 1999. Великая война и общественное сознание: превратности индоктринации и восприятия. — *Россия и Первая мировая война*. — СПб.
- Земский феномен... 2001. *Земский феномен. Политологический подход*. — Саппоро.
- Игрицкий Ю.И. 1998. Меняющаяся Россия как предмет концептуального анализа. — *Отечественная история*. — № 1.

- Исаев И.А. 2007. *Топос и номос: пространства правопорядков*. — М.
- Ключевский В.О. 1968. *Письма, дневники, афоризмы и мысли об истории*. — М.
- Кондратьева Т. 2006. *Кормить и править: О власти в России XVI–XX вв.* — М.
- Королев С.А. 1996. *Донос в России. Социально-философские очерки*. — М.
- Костомаров Н.И. 1991. *Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. II*. — М.
- Леонов С.В. 2003. «Разруха в головах»: к характеристике российского массового сознания в революционную эпоху (1901–1917 гг.). — *Ментальность в эпохи потрясений и преобразований*. — М.
- Леонтьева Т.Г. 2002. *Вера и прогресс: Православное сельское духовенство России во второй половине XIX — начале XX вв.* — М.
- Леонтьева Т.Г. 2004. Российское реформаторство: генетический изъян? — *Россия и современный мир*. — № 4 (45).
- Лозо И. 2014. *Августовский путч 1991 года. Как это было*. — М.
- Лотман Ю., Успенский Б. 1982. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода. — *Труды по знаковым системам. Типология культуры. Взаимное воздействие культур*. — Тарту. — Вып. 15.
- Лотман Ю.М. 1992. *Культура и взрыв*. — М.
- Малякин И. 2000. Российская региональная мифология: три возраста. — *Pro et Contra*. — Т. 5. — № 1.
- Милов Л.В. 1998. *Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса*. — М.
- Минченко А.А. 2002. *Великая постсоветская депрессия: осознание, определение, преодоление*. — М.
- Никифоров А.А. 2007. Революция как субъект теоретического осмысления: достижения и дилеммы субдисциплины. — *Полис*. — № 5.
- Павлюченков С.А. 2008. «Орден меченосцев»: *Партия и власть после революции. 1917–1929 гг.* — М.
- Пастухов В.Б. 2012. *Реставрация вместо реформации. Двадцать лет, которые потрясли Россию*. — М.
- Пелипенко А.А. 2014. *Глобальный кризис и судьбы Запада*. — М.
- Переписка... 1981. *Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским*. — М.
- Пивоваров Ю. 2007. Истоки и смысл русской революции. — *Полис*. — № 5.
- Понимая «девяностые»... 2013. *Понимая «девяностые»*. — М.
- Рикёр П. 2002. Виновность, этика и религия. — Рикёр П. *Конфликт интерпретаций*. — М.
- Русское богатство... 1914. *Русское богатство*. — № 9.
- Салтыков-Щедрин М.Е. 1906. *Полн. собр. соч. Т. 4. Культурные люди*. — СПб.
- Свечин А.А. 2000. *Постыжение военного искусства*. — М.
- Совет министров... 1999. *Совет министров Российской империи Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова (записки заседаний и переписка)*. — СПб.
- Соловей В.Д. 2005. *Русская история: новое прочтение*. — М.
- Соловей В.Д. 2007. *Смысл, логика и форма русских революций*. — М.
- Соловей В.Д. 2008. *Кровь и почва русской истории*. — М.
- Соловьев В.С. 1989. *Соч. в 2-х тт. Т. 1. Философская публицистика*. — М.
- Старовойтова Г. 1995. Лидеров в политике надо менять так же часто, как детские пеленки. И по той же причине. — *Вечерняя Москва*. — 5 мая.

- Стародубровская И.В., Мау В.А. 2001. *Великие революции от Кромвеля до Путина*. — М.
- Столярова Л.В., Белоусов П.В. 2014. Смерть царевича Дмитрия в Угличе 15 мая 1591 г.: новая версия. — *Петербургский исторический журнал*. — № 1.
- Тарасов А.Н. 2005. *Революция не всерьёз: Штудии по теории и истории квазиреволюционных движений*. — Екатеринбург.
- Успенский Б.А. 1994. *Краткий очерк русского литературного языка. XI–XIX вв.* — М.
- Федотова В. 2000. Криминализация России. — *Свободная мысль*. — № 2.
- Филиппова Т.А. 2001. В царстве «Белого Царя». Методы стабилизации поздней империи. — *Новый мир истории России. Форум японских и российских исследователей*. — М.
- Флоровский Г.В. 1998. О народах не-исторических. — Флоровский Г.В. *Из прошлого русской мысли*. — М.
- Фриз Г. 2015. Война и реформа: Российская православная церковь в годы Первой мировой войны, 1914–1917 годы. — *Вестник Тверского государственного университета. Серия: История*. — № 1.
- Фроянов И. 2007. Революция для России. — *Литературная газета*. — 29 августа – 4 сентября
- Фурсов А. 2012. Крестьянство в социальных системах. — *Обозреватель–Observer*. — № 6. — Доступно: <http://users4496447.socionet.ru/files/furs3.pdf>. — Проверено: 27.05.2015 г.
- Чижевский А.Л. 1995. *Космический пульс жизни. Т. 2*. — М.
- Шевырин В.М. 2007. *Власть и общественные организации России (1914–1917)*. — М.
- Шепелева В.Б. 2005. *Революциология. Проблема предпосылок революционного процесса 1917 года в России (По материалам отечественной и зарубежной историографии)*. Учебное пособие. — Омск.
- Юнг К.-Г. 1994. *О современных мифах*. — М.
- Юнгер Ф. 2002. *Совершенство техники. Машина и собственность*. — СПб.
- Яковенко И.Г. 2002. Переходные эпохи и эсхатологические аспекты традиционной ментальности. — *Искусство в ситуации смены циклов. Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах*. — М.
- Яковенко И.Г. 2014. *Россия и модернизация в 1990-е и последующий период: Социально-культурное измерение*. — М.
- Ясперс К. 1991. Духовная ситуация нашего времени. — Ясперс К. *Смысл и назначение истории*. — М.
- Breslauer G.W. 2001. Personalism versus Procedualism: Boris Yeltsin and the Institutional Fragility of the Russian System. — *Russia in the New Century: Stability or Disorder*. Ed. by V.E. Bonnel and G.W. Breslauer. — Boulder (Colo).
- Buldakov V.P. 2014. Mass Culture and Culture of the Masses in Russia, 1914–22. — *Cultural History of Russia in the Great War and Revolution, 1914–22. Book 1: Popular Culture, the Arts, and Institutions*. Ed. by M. Frame, B. Kolonitskii, S.G. Marks, and M. Stockdale. — Bloomington (IN).
- Butterfield H. 1975. *The Whig Interpretation of History*. — NY.
- Clay E. 1997. Literary Images of the Russian “Flageliants”, 1861–1905. — *Russian History*. — Vol. 24. — No. 4.
- Engelstein L. 1996. Rebels of the Souls: Peasants Self-Fashioning in a Religious Keys. — *Russian History*. — Vol. 22. — Nos.1–4.
- Engelstein L. 1998. Paradigms, Pathologies and other Clues to Russian Spiritual Culture: Some Post-Soviet Thoughts. — *Slavic Review*. — Vol. 57. — No 4.

Cramer F. 1993. Schönheit als dynamisches Grenzphänomen zwischen Chaos und Ordnung — ein neuer Laokoon. — *Selbstorganisation*. — Bd. 47. Ästhetik und Selbstorganisation. — Berlin.

Freeze G.L. 1996. Subversive Piety: Religion and the Political Crisis in the Late Imperial Russia. — *The Journal of Modern History*. — Vol. 68. — No. 2. — June.

Levin E. 1993. Dvoeverie and Popular Religion. — *Seeking God: The Recovery of Religious Identity in Orthodox Russia, Ukraine and Georgia*. Ed. by S.K. Batalden. — DeKalb.

A. 2000. *The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolution*. — Princeton.